

жизнь замечательных людей



Б. В А Л Ь Б Е

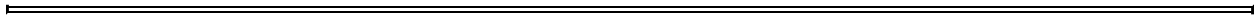
П О М Я Л О В С К И Й

Annotation

В издание идет речь о жизни и творчестве русского писателя - прозаика XIX века - Помяловского Николая Герасимовича (1835-1863), автора реалистичных повестей и очерков таких как: «Молотов», «Мещанское счастье», «Очерки бурсы» и др.

- [Б. Вальбе](#)
 -
 - [ДЕТСТВО](#)
 - [ГОДЫ УЧЕНИЯ](#)
 - [НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ](#)
 - [ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И НОВАЯ ЭПОХА](#)
 - [УЧЕНИК ЧЕРНЫШЕВСКОГО](#)
 - [В БОРЬБЕ ЗА РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ](#)
 - [МОЛОТОВ](#)
 - [ВСТРЕЧИ, СВЯЗИ, ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ](#)
 - [ОЧЕРКИ БУРСЫ](#)
 - [В ПОЛОСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ](#)
 - [«БРАТ И СЕСТРА»](#)
 - [ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ](#)
 - [БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ](#)
 - [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
 - [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
 - [В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ](#)
 - [ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА ПОМЯЛОВСКОГО](#)
 - [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
 - [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)



Б. Вальбе ПОМЯЛОВСКИЙ

«Я любил радоваться на сильнейшего из нынешних поэтов-прозаиков — на Н. Г. Помяловского. Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря — великая потеря для русской поэзии, страшная, громадная потеря».

Н. Чернышевский

«Возможно, что Помяловский «влиятелен» на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно восстал против старой дворянской церкви, первый решительно указал литераторам на необходимость изучить всех участников жизни, нищих, пожарных, лавочников, бродяг и пр.».

М. Горький

ДЕТСТВО

*«Где нам в барство лезть, не тем пахнет, да и
жизнь-то была у нас не барская, друг друга*

Н. Помяловский.



1

Для того, чтобы знать поэта, — говорил Гете, — надо знать его страну.

Страна, в которой родился Помяловский, это — Россия 30-х годов, это Петербург Николая I и Бенкендорфа. Петербург, в котором задыхался и трагически погиб Александр Сергеевич Пушкин.

На Малой Охте — окраине этого казенного, каменного Петербурга — родился Николай Герасимович Помяловский.

До 100-летнего юбилея Н. Г. Помяловского неизвестна была дата его рождения. Только в 1935 году удалось найти метрическую книгу церкви Марии Магдалины на Малой Охте. В этой книге под № 25 указано:

«У диакона Герасима Помяловского и жены его Екатерины Алексеевой родился сын Николай — 11 апреля 1835 года. Восприемники: Литвин, Александр Евтихийев, диакон Успенской церкви, что на Сенной, и Комарова, Варвара Николаевна, жена столоначальника СПб. Духовной Консистории».

Детство и отрочество Николай Герасимович провел на Малой Охте. Помяловский-писатель впоследствии создал удивительные типы охтенских поселян, показал их оригинальный быт и нравы, яркий колорит

этой своеобразной вольницы, вскормленной Малой Охтой. Любовь к Малой Охте осталась у Помяловского на всю жизнь. Он ее опоэтизировал в своей неоконченной повести «Поречане». О ней он трогательно всегда отзывается в своих письмах.

Охта — по утверждению историков — происходит от эстонского одноименного слова, означающего «запад, закат, конец». В применении к Охте происхождение этого названия объясняется тем, что Охта — самый крайний, западный, из правых притоков Невы.

В 1721 году по указу Петра, осуществлявшего свой план кораблестроения, в устье Невы и Охты было построено 216 домов для набора плотников. Был послан офицер на Белоозеро, на Вологду, в Шуйский городок, в Каргополь, на Устюг и на Холмогоры, для набора 432 вольных плотников, которые «были обыкновенны к судовой работе».

В мае 1723 года Петр получил донесение о выполненном наборе вольных плотников, которые и зачислены были в ведение партикулярной верфи. Вольные плотники были освобождены от всяких податей и налогов с обязательством выполнять в необходимых случаях адмиралтейские работы при оплате «противу других вольных плотников по 3 руб. 50 коп. в месяц». В их владении оставлены были дома и огороды. Были им обещаны выгоны и земли, «сколько следует по указу и писцовому наказу», но это обещание долго не было выполнено.

Охтяне не могли заниматься хлебопашеством. Зато у них были отличные пажити. И охтенки завели у себя голландских и холмогорских коров, снабжая столицу молоком и молочными продуктами.

Судостроение, столярное мастерство и скотоводство стали основными промыслами охтян. Женское население на Охте всегда превышало мужское и отличалось свободолобивым, независимым характером.

Помяловский с большим юмором подчеркивал «вольный дух» своих земляков, их образованность и эмансипацию женщин, что выделяло, по его словам, Малую Охту как «дивное местечко, славный уголок земли». Н. Г. Помяловский любил приглашать своих друзей на Малую Охту. В одном из его писем к Я. П. Полонскому мы читаем:

«Хорошо на Охте, погода благодатнейшая, ночи чудные, на кладбище соловьи прилетели, под носом Нева, с затылка речка, только на дворе некрасиво — бревна, дрова, щебье, старые бочки — ну, да зачем на двор смотреть. Квартира довольно большая и хорошенькая, как фонарь, — в одной комнате шесть окон». Старожилы Малой Охты и поныне гордятся теми местами поселка, которые связаны с именем Помяловского. Они знают уголки, где писатель любил удить рыбу; они охотно вспоминают о

различных шалостях, которые проделывал живой и задорный мальчик вместе с бойкой и веселой малоохтенской детворой.

Мальчик Помяловский целые дни проводил или на берегу с удочкой в руках, или на местной тоне, где между тонщиками у него были взрослые приятели, любившие здорового, бойкого и любознательного мальчика. Вольный дух рыболова, охотника или, как сам Николай Герасимович любил выражаться, дух «помяловщины» был привит писателю с детства. По различным воспоминаниям «произведениям самого Помяловского, имеющим автобиографический характер, нетрудно установить это.

2

Помяловский, как и многие другие выдающиеся представители революционной демократии 60-х годов (Чернышевский, Добролюбов), происходил из русской духовной семьи. Отец его был дьяконом кладбищенской церкви Марии Магдалины. До последнего времени ни один биограф Помяловского не имел никаких материалов об его отце. Нам посчастливилось найти в 1936 году в клировых консисторских ведомостях, хранящихся в ленинградском областном архиве, материалы, которые хотя и скупо, но все же дают некоторое представление о жизненном пути Помяловского-отца и его семьи, а также о Малоохтенской церкви, где он состоял дьяконом с 1835 года до своей смерти в 1851 году. В 1835 году ему было 31 год — стало быть рождения он 1804 года. В конце 1850 года он еще фигурирует в клировых ведомостях, обычно писавшихся его рукою, причем почерк у него был такой же, как у сына, но более ясный; его ведомости отличаются от всех прочих ведомостей этой консистории четкостью почерка и грамотностью. Герасим Никитич Помяловский умер от чахотки на 47-м году жизни, оставив большую семью — восемь человек детей.

После смерти Герасима Никитича заступивший его место дьякон Леонтьев платил семье своего предшественника 100 руб. 80 копеек серебром в год, «а именно вдове Помяловской до поступления ее в должность просфирни по 14 рублей 40 копеек серебром; и шестерым детям ее, каждому по 14 рублей 40 копеек серебром: дочерям до выхода их в замужество, а сыновьям до определения их на казенное содержание в училище».

В послужном списке отца Помяловского обращает на себя внимание прежде всего пункт об исключении его из философского отделения

семинарии, во-вторых, тот факт, что всю жизнь он оставался дьяконом, хотя был сыном священника, отлично грамотным и основательно знавшим церковную службу. Постоянный священник церкви Марии Магдалины Яков Феодорович Троицкий, происходивший из провинциальной дьяческой семьи, был менее грамотен, чем Герасим Никитич. В специальной графе консисторских ведомостей («кто как знает чтение, пение, катехизис, кто сколько в год говорил проповеди») о Герасиме Никитиче Читаем:

«Чтение, пение, таинства знает хорошо». Поведения «скромного» — явление очень редко отмечаемое среди духовенства того времени. Между тем это «скромное поведение» неразлучно с Герасимом Никитичем во всех ведомостях за все годы его службы. Со слов Николая Герасимовича известно, что отец его не был пьяницей. Есть также графа, из которой видно, что он никогда не был судим и оштрафован. Исключение Герасима Никитича из философского класса семинарии несомненно находится в связи с его «скромным» поведением. Скромное поведение и исключение из семинарии Помяловского отца станет понятнее, когда мы познакомимся с пребыванием его сына в семинарии, с его ненавистью к царившему здесь варварству и деспотизму. В семье Помяловских не чувствовалось обычного в тогдашних духовных семьях деспотизма. Отец был добродушный, миролюбивый, с детьми обращался сравнительно ласково.

Николай Герасимович оставил очень мало воспоминаний о бытовом укладе родительской семьи. Пробел этот, правда, не трудно восполнить по его художественным произведениям, носящим автобиографические черты. В рассказе «Данилушка» он так описывает семейную обстановку: «Вот глубокая осень. Отец обошел свои гумна и нашел, что всего-то у него вдоволь. Он рад и спокоен. Данило принес первую клюкву. Кипит самовар на столе. Анна качает Люльку; мать стучит спицами; Петруха мастерит какую-то штуку долотом; отец добыл Четьи-Минею и начинает читать о Георгии Победоносце и св. великомученице Варваре. Бывают во всяком более или менее добром семействе тихие, мирные вечера, когда в воздухе веет благодать и кротость; всех посетило лёгкое расположение, нет ни хохоту, ни крику детского. Это не счастье, которое волнует кровь, это — чудные часы жизни, после которых не остается ни утомления, ни пустоты в душе, это — поэзия семейной жизни! В такие минуты, ребенок, утомившись игрой, положит голову на руку; взор его углублен, и не угадать, сознает ли он себя или не сознает. Самовар шумит и свистит; раздаётся мерная октава [отца]. Данило, забравшись в угол, слушает сказания о великих чудотворцах. У него замирает сердце и, в патетических местах, дрожит слеза на реснице, и потом долго мечтается ему о такой

святой и блаженной жизни и представляется уже ему, что вот и его ведут к Диоклетиану, и он читает «Верую», и проводят его через все роды казней и мучений, мечтается ему, что все это он перенесет и переможет, и будет святым». В этой обстановке, как можно видеть, преобладают два начала. Начало мирной трудовой жизни, дружно спаянной семьи и обычные в семье духовенства сказания и предания, полные церковных суеверий, расслабляющей мистики и варварской мифологии. Образ отца, однако, всегда окутан в воспоминаниях Помяловского ласковостью и добротой.

Маленький Николай выделялся в своей семье способностями к разному изобретательству: то кораблик сделает, то с лихим хлыстом удочку, то запустит змея с разными невиданными белендрясами и трещотками, то выдумает диковинные тенета для птиц. Каждый день он придумывал все новое и новое, поражая своими изобретениями семью, гордившуюся даровитым мальчиком. Но в таких семьях, как семья Помяловского, дети редко остаются в сфере игр и потех, учебников и занятий. По свидетельству самого Помяловского он рано включился во все тяготы семейных работ, — то лошадь сводить на водопой, то помочь отцу около дома, в огороде, в саду, в рыбной ловле, то понанчить маленького брата, то спеть с отцом на клиросе. Все это развивало раннее чувство самостоятельности в мальчике.

Путешествовать через рвы и болота, на целый день со скудным завтраком уноситься в легкой лодчонке и пускаться с длинным хлыстом лёсы — это стало любимым занятием мальчика Помяловского. Вскормленный береговым ветром, мальчик изучил окрестные овраги и ручьи, помнил все надписи на плитах и крестах местного кладбища. Описывая воспитание Данилушки, Помяловский подчеркивает, что никакой учебник, никакая ботаника и зоология не научат тому, чему научит ребенка природа.

«Ни один городской мальчик, — говорит Помяловский о герое своего рассказа Данилушке, — не видывал картины такой, какие видывал Данило. Никому учебник не говорил так много, как Даниле говорила мать-природа. Да он и сам был дитя природы. Ему не преподавали по рецептам изучать сначала арифметику и грамматику, потом средне-учетные науки. Он всему учился сразу — и логика, и практическая философия, и языки, и вера, и сельское хозяйство, и география на тридцать верст в окружности, и право, на сколько оно известно в деревне, — все ему известно, все он черпает не из мертвых книг, а прямо из жизни, из природы. И зато навеки останется в сердце его все, что он почерпнул из этого естественного источника».

Эти страницы говорят о лучшей стороне детства Помяловского, но жизнь мальчика прежде всего омрачалась близостью церкви и кладбища, где мальчику приходилось наблюдать обряды погребения, слышать вечный

плач горюющих родственников и причитающих во пленниц.

Во главе с маленьким Помяловским детвора играла по целым дням в похороны и отпевание.

Достаточно увидеть удручающий пейзаж малоохтенского кладбища, чтобы представить себе, как он должен был подавлять воображение впечатлительного мальчика.

«Вообрази теперь, — говорит один из героев Помяловского, Череванин^[1], — хотя ту картину, которую я чаще всего видел с детства... Положат тебя на стол, под стол поставят ждановскую жидкость, станут курить ладаном, запоют за душу хватающие гимны — «житейское море», или «что это за чудо», «как мы предались гниению», «как мы с смертью сопрягались». Соберутся други и знакомые, Станут целовать тебя, кто посмелее в губы, потрусливее в венок... Дальше. Что же дальше? Захлопнут гроб крышкой и завинтит ее вечным винтом вечного цвета мастер гробовщик Иван Софронов, и опустят тело в подземное жилище... Могила... Что такое там? Я уже вижу, как идут, лезут и ползут черви, крысы, кроты. Веселенький пейзажик...» Устами Череванина Помяловский говорит о том тягостном впечатлении, которой сопровождало его в детстве, расслабляя «вольный дух» поречанина. Кроме того, Малая Охта наделила Помяловского горьким недугом, от которого впоследствии так безвременно он и погиб. Страшно читать его признание в письме к Я. П. Полонскому:

«Первый раз пьян я был на седьмом году. С тех пор до окончания курса страсть к водке развивалась крещендо и диминуэндо».

Развитию этого недуга, как видно, особенно способствовали кладбищенские игры и праздничные гулянья на Охте. Пьяный разгул, бесшабашность, звериная удаль кулачных боев, обжорство на поминках по усопшим, непристойные рассказы местных юмористов, — все это не могло не наложить своего отпечатка на сознание предоставленного самому себе впечатлительного и бойкого мальчика.

Вместе с тем празднества откладывали в сознании его и другие впечатления. Сытые петербуржцы, приплывающие со снедью на яликах и ялботах, и ободренные, истощенные нищие, слоняющиеся в поисках гроша или корки, — этот резкий контраст не прошел мимо сознания Помяловского-мальчика и зародил впоследствии проблему «несчастливого люда» в творчестве Помяловского-писателя.

ГОДЫ УЧЕНИЯ

«Их ломали в бурсе, гнули в академии».

Аполлон Григорьев

«Семейная жизнь теперь казалась ему полным блаженством, выше которого нет на свете; бурсацкая — царством бесконечных мучений. Он усиленно всматривался в черную бездну, которая легла между той и другой жизнью...»

Н. Помяловский

1

Первоначальной грамоте Помяловский научился дома. Учил его отец по Четьи-Минеем и другим церковным книгам, как принято было учить тогда в семьях духовенства. Посещал он также месяца четыре какую-то грошовую школу на Малой Охте. Родители мудрить особенно не стали. Дорожка, мол, уготована сыну одна: быть Николаю либо дьяконом, либо священником. Так испокон века шли поколения Помяловских к священнослужительству.

На восьмом году жизни мальчик был отдан в приходское Александро-Невское духовное училище. Отправке в бурсу предшествовали всякие торжественные приготовления. Мать, не по обычному ласковая, часто тоскливо вздыхала. Отец стал дарить грошики для копилки. Полунамеком заговаривал о розгах. Дескать, порят там, чорт их побери, знатно! Один сечет, да два держат: один за ноги, да один за голову... А то, бывало, и секут-то двое... с одной стороны, да с другой стороны. Худая это штука».

Мальчик начинает строить планы, как избежать этой секуции.

— Я убегу, тятка!

— Нет, не убежишь! Там солдат стоит у ворот!

— Так я с дороги убегу!

— А куда же с дороги пойдешь?

— А в разбойники...

Но эти беседы о розгах все же не западали глубоко в душу мальчика. К моменту поступления Николая в бурсу братья его Павел и Владимир были уже «старыми» бурсаками. Они учились в том же приходском Александро-Невском училище. Старший брат Павел, прозванный в бурсе носатым, славился своей физической силой, к тому же он был неразлучным другом и товарищем главного коновода бursы Силыча, перед которым все трепетали. Таким образом, братья, защищенные собственной физической силой, а еще больше дружбой с богатырем бursы, Силычем, застрахованы были от диких издевательств и затрещин. Поэтому в их рассказах бурса, выступала своеобразной вольницей. Стать «бурсаком с ног до головы» казалось мальчику очень заманчивым и романтическим. Николая очень увлекали рассказы братьев о бурсацкой жизни, играх, проделках, борьбе с начальством.

Все же в день отправки в бурсу, когда все оделись по-праздничному и священник приступил к молебну Козьме и Дамиану, мальчику стало страшновато. Он воспринял все, это как соборование, а не как молитву об «умудрении яко Соломона». Священник напутствовал мальчика назиданием учиться, слушаться старших, почаще молиться, и тогда умудрит господь стать большим человеком. Отец тоже наказывал терпеть да терпеть, «чем больше вытерпишь, человеком будешь».

Мать, по обыкновению, заливалась слезами, сокрушаясь, что ее слабенького сына, ее красное солнышко «вконец оциплют, окаянные».

2

В тот день, когда на Помяловского надели сюртучок вместо обычной детской рубашки и повезли в бурсу, он был необычайно счастлив. Увидев во дворе бursы играющих бурсачков, он нетерпеливо простился с отцом, рванулся к своим будущим сотоварищам, уверенный в предстоящем ему радостном содружестве. Играли здесь в разные игры — в лапту, масло, отскок, свайку, рай и ад, казаки-разбойники, краденую палочку и т. д. Все это показалось новичку страшно интересным и занимательным. Тем скорее хотелось ему войти в гущу детворы равноправным сочленом.

Но бурса имела свои традиции. Волчьи нравы царили в этих питомниках, предназначенных для подготовки будущих «христовых пастырей».

В книге о «приходском священнике Александре Васильевиче Гумилевском» любопытно описание, как подлекарь бursы встречал детей,

пришедших впервые за справками о приеме в эту школу.

«Вместо доброго приветствия, — рассказывает автор этих воспоминаний, — подлекарь встретил детей такой руганью, что и в кабаках бурлацких навряд ли можно услышать что-нибудь подобное. Покоробило детей площадное приветствие подлекаря — этого питомца бурсы, но делать было нечего».

Все это было еще ягодками в сравнении с тем, что происходило в самой бурсе, что и испытал на своей собственной спине Николай Герасимович. Новичка в бурсе должны были прежде всего «смазать». Таким приветствием был встречен и Помяловский. Какой-то верзила, великовозрастный бурсак неожиданно с размаху зажал, при общем хохоте, лицо новичка в свою грязную лапу. Вслед за этим мальчика «посадили в бутылочку». Игра эта начинается с того, что непосвященному новичку дают шапку, обещая, что, если он потрет ею свое лицо, он очутится в бутылке. Наивный мальчик трет шапкой свое лицо при общем смехе товарищей, приговаривающих: «входишь в бутылочку, лезешь в нее, сел в бутылочку» и т. д. Затем подают мальчику зеркальце, и он не узнает своего лица, черного, как у трубочиста. Тут он догадывается, что шапка была вымазана сажей. Не успеет новичок очнуться, как к нему подходит цензор^[2] с вопросом — «видал ли он Москву». На отрицательный ответ цензор дает обещание ее показать. Он схватывает голову своей жертвы, стискивает ее своими ладонями, приподнимая новичка в воздухе, при душераздирающих его криках. Другой верзила тут же приказывает новичку спросить у ученика первой парты волосянки. Не успев спросить, мальчик получает «волосянку»: ему вцепляются в волосы и нещадно рвут их и треплют. Визг жертвы порождает общий смех и удовольствие.

Но этим не закончился злополучный первый день бурсы. Тут было обливание холодной водой и разбойничий удар в спину, от которого с мальчиком едва не случился обморок. И в довершение всего от зрителя училища он получил пять ударов розгами как «снисхождение» на первый раз. В тот же день новичок слышал от товарищей про изощренно-садическую порку, которая носит особое название «на воздушях». Все эти издевательства обычно назывались в бурсе «шлифовкой».

Если к этой «теплой» встрече прибавить еще впечатление от внешней обстановки бурсы, то сразу станет очевидным, как велико должно было быть разочарование мальчика. Огромная комната с промерзшими насквозь углами, стены в чернотурных полосах и пятнах, в плесени и ржавчине, пол, посыпанный песком или опилками, потолок, готовый обрушиться и наспех подпертый деревянными столбами, это — класс. В нем парты, черная

доска, стол и стул для учителя. Вешалка, на которой висят шинели, шубы, накидки, перешитые из материнских капотов, отцовских подрясников. По всему этому тряпичному сброду ползает изрядное количество паразитов. Промозглый, прогорклый, сырой и холодный воздух, вонь и копоть — сгущают атмосферу этой ужасной комнаты. Так выглядел «вертоград науки», который должен был дать «плоды обильные», согласно резолюции Александра о духовных школах.

3

Духовные школы в России преследовали также и общеобразовательные задачи. Но латынь была средоточием всех ее курсов. Сословный характер этих школ заключался в незыблемой их традиционности и строгой замкнутости. Они были предназначены прежде всего для детей духовенства.

Внешние распорядки этой школы в период 40-х годов были такие же, как в глубокую старину. Правда, в жизни духовных школ в XIX веке начинается новая полоса, связанная с реформами графа Протасова.

Историки духовной школы в России приводят обычно отзыв Екатерины II о том, что к началу ее царствования «архиерейские семинарии состояли в весьма малом числе учеников в худом учреждении для наук и в скудном содержании». В этих школах не было подготовленных учителей. Определенной программы здесь не существовало, курсы были смешанные. Отсюда вытекал недостаток положительных знаний, исключительное господство латыни, преобладание формализма и схоластики. Обучали здесь таким знаниям, которые не могли иметь никакого применения в жизни.

Над реформой духовной школы трудились многие деятели и сподвижники Александра I, в их числе был М. М. Сперанский. Были учреждены, кроме духовных академий, духовные семинарии. Петербургская семинария помещалась в Александро-Невской лавре. Здесь же было и Александро-Невское духовное училище. Помещение семинарии и училища было из рук вон плохое.

В 1836 году с назначением графа Протасова обер-прокурором св. синода, начинаются реформы духовных учебных заведений. Протасов хотел было приспособить их курс к практическим потребностям. По его мысли будущий сельский священнослужитель должен был обладать познаниями из медицины, агрономии и т. д. На деле все это свелось к увеличению часов на изучение фрунтологии и шагистики, а русской

грамоте уделялось так мало времени, что семинаристы продолжали выходить из школы в большинстве своем безграмотными.

Еще при Екатерине было обращено внимание на безграмотность низшего духовенства. Началась насильственная вербовка не только малолетних, но, по выражению Помяловского, бородатых «детей» из сельского духовенства, чтобы учить их в бурсе письму, счету и церковному уставу. Эти дьяки и пономари, разлученные с своими приходами, попадали в обстановку розог, холода и голода.

Года три-четыре приходилось пожилым бурсакам постигать грамоту, чтобы опять иметь право дьячить.

Эта насильственная вербовка была разорительна для семьи вербуемого. Плач, вой и причитания сопровождали бородатого школьника. Ненависть и злобу — вот что питал бурсак к «вертограду» науки.

К периоду, связанному с «реформаторством» графа Протасова, налицо была уже иная картина, картина «перепроизводства» бурсаков. Некуда было их девать — не хватило приходов, а к другой работе они не были подготовлены. Период насильственного образования кончился. По новому закону великовозрастных в середине учебы «отправляли за ворота» (исключали). Но по традиции родители продолжали привозить взрослых детей в 15–16 лет и старше. Приходилось ежегодно «отправлять за ворота» по сто и больше человек.

В момент поступления Помяловского рядом с восьмилетними мальчуганами сидели двадцати-и двадцатичетырехлетние верзилы, озлобленные и озверелые от лишений, грязи и еще больше от всей системы издевательств и пыток, практиковавшихся здесь педагогами и начальством, от системы мучительства и садизма.

Эта «педагогия» обусловлена была, разумеется, всем режимом самодержавия и яростно защищалась идеологами и публицистами православной церкви.

Архиепископ Никанор Бровкович, автор «Воспоминаний бывшего альта-солиста», нападая на Помяловского и других авторов, вышедших из духовенства и сатирически изображавших поповщину в быту и обучении, приводит рассказ своего товарища, магистра духовной академии, одно время преподававшего в «бурсе Помяловского». В классе, где было 60 мальчиков, магистру никак не удавалось втолковать «греческую мудрость». Так тянулось до тех пор, пока он не прибег к помощи лозы.

— Да как вздул малую толику, — бахвалился магистр, — одного, другого: э-э-э, гляжу, пошла песня совсем иная! Откуда прилежание, откуда и дарование взялись! И отлично, братец ты мой, дело пошло. А то «вы, да

вы» и пустяки выходят». Вообще «вспрыскивание посредством лозы по-староотечески» признавалось самой испытанной системой воспитания.

Однако система «вспрыскивания» совсем не давала таких идиллических результатов («прилежания и дарования»), которыми бахвалились бурсацкие воспитатели. Результаты были воистину трагические. Их изведal на себе Помяловский. О них рассказывают лица, которые далеко не склонны были к «обличениям». Даже в официальных историях духовной школы запечатлены следы варварской жестокости бурсацкого начальства.

Достаточно привести следующий знаменательный рассказ об инспекторе училища (где учился Помяловский), кандидате академии Адриане Колоколове.

Рассказ этот основан на жалобе дьяконской жены Д — вой в семинарское правление по поводу истязания ее племянника Колоколовым. Истязание вызвано было наветом одного из товарищей, утверждавшего, что племянник уговорил его (товарища) украсть у матери 50 рублей. Племянника решено было пытать: пять человек служителей и один чиновник секли мальчика, а инспектор Колоколов стоял ногою на шее своей жертвы; пытка продолжалась более двух часов, 500 ударов получил несчастный мальчик. Тяжело больного его увезли в больницу. Между тем оказалось, что кражу совершил другой питомец. Тетка стала требовать «законного удовлетворения» от семинарского правления. Но вместо этого получила следующее издевательски-садическое решение: ни в чем не повинного племянника после страшной пытки решили перевести в Петропавловское духовное училище, с угрозой об исключении, если будет замечен в подобных поступках. Это был далеко не исключительный случай, а бытовая повседневность тогдашней духовной школы, особенно низшей.

Об этом можно судить по книгам не только Помяловского, но и по другим «бурсацким» воспоминаниям. Знаменитый историк А. П. Щапов в своих воспоминаниях о бурсе писал: «Если бы дети бедных сельских дьячков и пономарей рассказали историю своего воспитания в духовных училищах, они бы открыли образованному свету чудеса физиологии и педагогики в истории воспитания и просвещения молодых поколений в России... Кто-то из знающих хорошо весь удушливый, убивающий процесс бурсацкого воспитания пробежал раз мысленно по духовным училищным бурсам и воскликнул: «Боже мой! и как еще живы эти сердечные остаются». Да, действительно, это — вопросительный физиологический факт».

Об этом свидетельствует и С. И. Сычуглов, автор «Записок бурсака».

«В нравственном отношении, — говорит он, — бурса искалечила меня». Вспоминая, каким ласковым, правдивым, добрым, доверчивым мальчиком он вступил в бурсу, Сычугов указывает на страшную перемену, происшедшую в нем под влиянием школы. «В ней, — говорит он, — я стал скрытным, хитрым мальчиком, себе на уме, лживым, лицемерным, низкопоклонным, с камнем за пазухой, злым, мстительным».

Сычугов не мало рассказывает и о розге как универсальном орудии просвещения в бурсе. «Драли нас— через одного палача с двумя обязательными держателями, драли в две лозы, драли слабо и жестоко, драли сухими, драли распаренными розгами, драли, наконец, с прибаутками и шутками, со злостью и издевательством».

Такова была обстановка и петербургской бурсы, того Александро-Невского духовного училища, в котором Помяловский «просвещался» восемь лет.

4

Итак, мечта о бурсе, как о вольном мире дружбы и товарищества, навеянная рассказами братьев, разбилась вдребезги с первого дня бурсацкой жизни. Счастливый случай скоро, однако, избавил Помяловского от издевательств. Узнав его, как брата старших бурсаков Помяловских, местный старожил Силыч взял Николая, прозванного уже Карасем, под свою опеку. Этого достаточно было, чтобы приостановить «шлифовку», которая доводила многих новичков бурсы до умопомешательства и смерти. Слабых своих товарищей бурсаки умели доконать, доводили новичка «шлифовкой» до белого каления. С отчаяния мальчик бросался жалобой к начальству, это еще больше усугубляло вражду бурсаков к новичку, отныне ставшему фискалом. А фискалов мучили беспощадно. Так было с товарищем Помяловского (выведенным впоследствии в «Очерках бурсы» под именем Семенова). Бурсаки замучили его пыткой, специально придуманной в бурсе, так называемой «пфимфой» Варварское изобретение это заключается в том, что горящую вату вводят в широкое отверстие «фунтика», а узкое отверстие вставляют в нос спящему. Густая струя удушливого дыма охватывает мозги жертвы; спящий бросается и мечется в невыносимых страданиях. Все это проделывалось не раз, и мальчиков замертво увозили в больницу. Избавленный от этих «забав», Помяловский подвергался еще более изощренным пыткам «начальствующих лиц» этой бурсы, ее педагогов. Четыреста раз Помяловский испытал жесточайшую

порку. Чуть ли не каждый день он стоял на коленях, оставаясь без обеда. Он часто говорил о себе: «пересечен я, или еще не досечен? На сем месте у меня выросла слоновая кожа». В один из первых дней своего прерывания в бурсе, истерзанный пытками до предела, с налитым кровью лицом, со вздутыми на висках и на шее жилами, он уже в беспамятстве с остервеневшем бросился на своих мучителей. Пальцы его, вцепившись в волосы одного из них, заостенели. На шум вбежал учитель. Все отступили. Только Помяловский, вцепившись в бурсака, остался на месте. По приказу учителя новичка без разбора дела подвергают самой жестокой перке «на воздушных». Справа и слева свистят лозы, кровь фонтаном брызжет из тела, несчастного, нечеловеческий крик и вой оглашают бурсу.

Надолго после этого мальчик потерял способность соображать. Эти переживания вызвали страшный душевный надлом. Скоро случайно побывал в бурсе отец. Потоки слез полились из глаз новичка... С острой тоской он вспоминал родное селение, дом с садом, кладбище, семью, домашних товарищей, игры. Мерзость бursы была прочувствована всеми порами тела.

Мальчик умолял отца взять его домой, не рассказав, однако, про ужасную порку. Естественно, что отец, не имея представления о случившемся, советовал «притерпеться». Мальчику ничего не оставалось, как переживать в одиночестве свои страшные обиды, все ужасы моральной и физической пытки. Мертвая безнадежность, глухое отчаяние легли на сердце Помяловского.

Ненависть к бурсе овладела всеми его чувствами. Пассивное страдание вызвало острое озлобление, оно распаляло воображение, в голове возникали фантастические планы мести. Все это переходило даже в галлюцинации. Мальчику стало казаться, что он совершает поджог бursы. В ее подвалах от зажженной пакли горят уже костры. Вот-вот, и проклятые бурсацкие гнезда охвачены будут горящими языками; трещат, нагибаясь и падая, стены... разрушаются омерзительные классы... сгорают противные книги и учебники, журналы и нотаты, гибнут в огне начальники» и учителя, цензоры и аудиторы. Вот среди треста и грома разрушающегося здания слышатся вопли умирающих. Особенно громок стон учителя, так жестоко поровшего ни в чем не повинного ученика.

Сладострастным наслаждением сопровождаются у мальчика эти образы разрушения и гибели. Он весь в полугорячем состоянии, нервы натянуты, как струны, пульс бьет девяносто в секунду, голова горит.

И вот в разгар воображаемой мести мальчик вспоминает, что и он повинен в жестокости; однажды он нечаянно подшиб камнем голубя. И

теперь этот случай вызывает у него угрызения совести. Он мечется всю ночь, не смыкая глаз. Днем он насторожен, в каждом учителе видит зверя, смотрит на всех исподлобья, готовый к внезапному и незаслуженному удару. Сознание его угнетено необходимостью фальшивить, кланяться начальству и подчиняться диким капризам.

Защита восемнадцатилетнего богатыря Силыча спасла Помяловского от того, чтобы стать «подлецом или последним забитым дураком». Перенесенные страдания и опека Силыча обусловили и такие черты характера Помяловского, как чувство независимости и сострадания к слабым.

Бурсацкий быт был глубоко развращен не только учителями, но и всем подразделением бursы на подчиненных и «власти», старших спальных, старших дежурных, цензоров, аудиторов, секундаторов.

Начальствующие бурсаки вербовались преимущественно из второкурсников, оставленных на второй год за леность и малоуспешность. Из них и создавалась училищная бюрократия, направленная на деморализацию бурсацкого товарищества по принципу «разделяй и властвуй».

Бурсаки-начальники могли делать, что им угодно. Это была целая иерархия во главе с царьком — цензоров, окруженным придворным штатом аудиторов, в свою очередь возглавлявших всех второкурсников. Аудиторы были аристократией бursы, сильной физически и знающей на зубок все традиции бурсацкой «педагогии». Взятка и вымогательство — обычная основа власти бурсацкого начальства. На этой почве в бурсе развивалось ростовщичество. Для «подарков» брались деньги займы, особенно городскими учениками, до получения из дому и т. д. — с отчислением известного процента ростовщику. Цензоры, аудиторы и другое начальство благодаря этому жили барами, проявляя безудержный деспотизм в отношении новичков. Последние трепетали перед цензорами и аудиторами, раболепствуя и заискивая всячески.

Здесь тоже помог Силыч. Помяловский избавился от этого раболепства, от необходимости давать кому-либо подарки, лакействовать перед второкурсниками, рассказывать им на ночь сказки, покупать им булки, искать в голове паразитов и т. д., как это вынуждены были делать почти все первокурсники.

Постепенно он завоевывал себе независимость, обходился без помощи Силыча, и научился защищаться, даже в схватке с сильным бурсаком. Сам никогда не нападая, он отбивался, однако, стойко. Это не могло не нравиться товарищам — они его полюбили.

Один из лучших школьных друзей Помяловского, Н. А. Благовещенский, следующими штрихами воссоздает портрет Николая Герасимовича в период бursы:

«Помню, — рассказывает Благовещенский о Помяловском той поры, — когда однажды товарищи робко указали мне на него, как на силача, который в обиду себя не даст. Он шел по мосткам в порыжелой казенной шинели, ободранной и истасканной до-нельзя, шапка нахлобучена была по самые уши, воротник поднят, и из-за воротника виднелся один только глаз со шрамом.

— Это Карась, — шептали мне товарищи.

— Карась? — громко спросил я.

— Тише!.. Услышит, так рад не будешь: побьет.

Я с тех пор всегда со страхом поглядывал на Помяловского, и очень хотелось мне хоть раз обозвать его Карасем, чего он, как бурсак, конечно, не утерпел бы».

Этот портрет Помяловского-Карася, нарисованный Благовещенским, относится к тому времени, когда он был уже в старшем классе и считался «отпетым». «Отпетыми» назывались те бурсаки, которые не занимались науками, не боялись порки, не трусили перед начальством и умели на удар отвечать крепким кулаком. Быть «отпетым» в бурсе считалось почетным. Это был своеобразный протест против начальства.

Весь режим бursы, тупая зубрежка, «долбня», как ее называет Помяловский, вызывали отвращение к урокам. Богословское крючкотворство, метафизика, риторика и схоластика, в которых путались сами учителя, настолько отталкивали от себя бурсаков, что умный, способный Помяловский учился плохо и не раз оставался на второй год. В одном из своих рассказов, «Долбня», он так характеризует учителя бursы Красноярова:

«Сам он получил воспитание схоластическое, повит был топиками и периодами, произошел всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлен, воспитан тою философией, которая учит, что «все люди смертны. Кай — человек, следовательно — Кай смертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному закону», что «законы разума неукоснительно вытекают из нашего я», что «где является свет, там уничтожается тьма» и т. п. Окончательно же окрепли его мозги в диспутах, когда он смело и победоносно витийствовал на одну и ту же тему pro и contra (за и против), смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускал в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды силлогизмов и паралогизмов».

Ученикам, конечно, все это было в тягость и глубоко противно. Особенно это тяготило Помяловского, привыкшего с детства к простоте, ясности и свободе. Естественно, что от этого интеллектуального удушья и схоластических вывертов тянуло его обратно в родное приволье.

Бегство из училища стало заветной мечтой Помяловского, побывка у родителей — великим праздником. Между тем, учителя-инквизиторы, в наказание за разные провинности, лишали юношу и этой последней радости. Помяловский с отчаяния стал придирчиво изучать каждый учебник, выслеживать учителя, как своего злейшего врага, и постепенно открывал в учебниках множество чепухи и безобразия. Он стал недоверчиво относиться к «науке». Это сделало его, говоря бурсацким языком, «вечным нулем», т. е. окончательно неуспевающим. Но все же выпускные испытания он выдержал хорошо и перешел в низшее отделение духовной семинарии.

В свидетельстве, выданном ему начальством Александро-Невского духовного училища, говорится, что ученик Николай Помяловский, города С.-Петербурга, умершего диакона малоохтенской церкви Герасима Помяловского сын, имеющий от роду 16 лет, при способностях «очень хороших», прилежании «постоянном» и поведении «похвальном», обучался закону божью, священной истории и арифметике «очень хорошо», географии и нотному пению «хорошо», наконец, языкам латинскому и греческому «очень хорошо».

Чувства независимости и протеста против гнета не располагали Помяловского к дружбе с второкурсниками-начальниками. Он предпочитал дружить с так называемыми «дураками», т. е. с теми забитыми, робкими, оглупевшими от побоев и сечений бедняками, которые служили мишенью для всеобщих насмешек.

К ним Помяловский чувствовал особую симпатию и брал их под свою защиту. «Он (Помяловский), — вспоминает Благовещенский, — легко сходилась с ними на ласковом слове, видел, с какой радостью они отзывались на каждую ласку, и полюбил их за то, что крепко ненавидели бурсу, что с ними можно было потолковать о доме родном и других милых сердцу предметах, которые осмеивались заклятыми бурсаками. Таких друзей в этот период времени у Помяловского было много и следствием этих знакомств было то, что Николай Герасимович потом на каждую забитую и угнетенную личность смотрел снисходительно, даже симпатично».

Там же, в бурсе, наметились и слабые стороны характера Помяловского. Нюхательный табак и «зеленый змий» были обычным

удовольствием бурсаков. От тоски стал прибегать к водке, и Помяловский. Недуг, проявившийся еще в детстве, здесь углубился и окреп.

Но вот училище окончено. Шестнадцатилетний юноша переходит в семинарию.

Независимость характера, товарищеское чувство, сострадание к обиженным, ненависть к схоластике и долбне — все эти черты были обусловлены его детством, и бурса их не сломила. Семинария не могла внести резкого изменения в уже сложившиеся черты его характера.

Переход из семьи в бурсу — это самая трагическая страница в биографии Помяловского, она насквозь пропитана слезами, отчаянием и безысходностью. Ведь не случайно же Д. П. Писарев, проводя параллель между бурсой и каторжным «мертвым домом» (по роману Достоевского), пришел к заключению, что «в мертвом доме» нравы были гуманнее, а бурса калечила физическую и нравственную стороны жизни молодого поколения.

«Блестящие исключения из этого правила, — верно указывает Писарев, — не должны подкупать нас в пользу бурсы, во-первых, потому что эти исключения очень малочисленны, а во-вторых, потому что все они относятся к таким личностям, которые по выходе бурсы сворачивали в сторону с торной бурсацкой дороги. Эти личности, подобные Добролюбову и Помяловскому, развиваются и совершенствуются именно тогда, когда стараются как можно быстрее и полнее забыть все то, чем наградила их alma mater — бурса. Только эти блестящие ренегаты бурсы и привлекли внимание общества на замкнутый бурсацкий мир».

И действительно, многие, восхищаясь такими бурлаками, как Чернышевский, Добролюбов, Помяловский, Щапов, удивлялись, что в этих питомниках рубины и жестокости выковались сердца из золота и стали.

В семинарию Помяловский пришел уже без иллюзий, с ясным пониманием обстановки, с выработавшейся привычкой к сопротивлению. Конечно, не все годы в семинарии были одинаковы.

С 1851 по 1857 год николаевская Россия переживала общественный сдвиг, о котором подробно речь впереди. Все это косвенно не могло не отражаться и на семинарской жизни. Но годы текли все-таки медленно. Семинарии, несмотря на реформу Протасова, держались в основном исконных традиций. Официальные ревизоры большей частью констатировали «удовлетворительность» их состояния.

Введенное Протасовым преподавание естественных наук и сельского хозяйства давало жалкие результаты. Первое место в семинарском курсе по-прежнему занимали старые богословские науки. Они были основными предметами всех отделений. Нравственное богословие, пастырское богословие, собеседовательное богословие, гомилетика, литургика — вот примерно то основное, что должен был знать на зубок семинарист. За этими предметами шла церковная история. Поступавшие в низший класс семинарии испытывали обычно над собою бесконечный надзор разных властей. Старшие, подстаршие, начальники, наконец, оба высшие отделения.

Положение «словаря» (так звали ученика низшего класса семинарии) было здесь не из легких.

К моменту поступления Помяловского режим здесь установился невыносимый, особенно отличался инспектор семинарии А. И. Мишин. В «Очерках бурсы» есть такое упоминание об этом инспекторе: «Инспектор ненавидел его (Карася}, говоря, что человек, обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский; должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнее карасино, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыба, как Карась, а звериное, ибо имя его «Медведь». Этот Мишин, Александр Иванович, в 1841 году кончил С.-Петербургскую духовную академию первым магистром и был оставлен там бакалавром. Но затем был назначен инспектором и профессором логики и психологии в Петербургскую семинарию, где шестнадцать лет — до 1857 года — занимал эту должность.

Один из биографов Помяловского, В. Л — в, автор статьи «Школьные годы Помяловского», старается «объективно» характеризовать личность Мишина. По мнению В. Л — ва, отзывы о Мишине его воспитанников крайне противоречивы. «В то время, — пишет Л — в, — как большинство отзывалось о нем с глубоким уважением, даже с восторгом, как, например, архиепископ Никанор и мн. др., некоторые, кажется, имевшие личные счеты с ним, называли его «деспотом, безжалостно давившим и гнавшим все светлое и самостоятельное», и «формалистом до мелочей», и «двоедушным педагогом».

Немудрено, что архиепископу Никанору, глашатаю розги и «секуционной педагоги», Мишин понравился. Весьма своеобразно этот архиепископ объясняет причину вражды Мишина к Помяловскому. Он-де не любил Помяловского, «предчувствуя в нем зло», и Помяловский в отместку изображает Мишина в виде злодея. Злобствующий архиепископ, рьяный защитник кнута и мертвящей педагоги, раскрывает вопреки своим

намерениям истинную подоплеку вражды Минина к Помяловскому: «Предвидел в нем зло», — это значит предвидел в нем будущего революционера и демократа, борца против церкви и царского самодержавия.

Разумеется, отвратительным лицемерием и инсинуацией звучат следующие слова Никанора: «Где ж, я спрашиваю, эти ужасные чудища, которых видело пьяное до чортиков воображение нравственно падшего, физически заживо сгнившего Помяловского? Ребяческие, грубоватые дурачества он превратил в гнусные пороки. Поразительная, правда, скудость содержания детей в бурсе дала ему повод превратить ее в какое-то скотское стойло». Мы знаем уже, что представляли собою ребяческие, грубоватые дурачества бурсаков. А вот что собою представлял инспектор Мишин.

Далеко не «левый» и не «радикал», автор книги «Приходский священник Александр Васильевич Гумилевский», Н. Скроботов так рассказывает о Мишине: «Класс Мишина по латинскому языку был пыткой для бурсаков». «Всяк от всей душ» желает, — читаем мы у него, — чтобы Мишин занемог. Между тем Мишин всегда оставался здоровым, так как он при своем саженом росте и физической силе был наделен от природы богатырским здоровьем». Его все боялись. Немало даровитых семинаристов он загубил своим деспотизмом и самодурством. Он подавлял личность своих подчиненных, доводя их до исступления таким афоризмом: «Если ты стоишь, а начальство говорит тебе, что ты сидишь, значит, ты сидишь, а не стоишь», — или: «Если тебе велят печке кланяться, ты ей и кланяйся» и т. п. Этот деспот сконцентрировал в своих педагогических методах всю традиционную жестокость царского самодержавия. Он был пугалом семинарии. Все незаурядное и независимое быстро искоренялось им. Весьма понятно, что Помяловского Мишин возненавидел животной ненавистью. Много, настрадался от лютого инспектора будущий писатель. Воспоминание о Мишине на всю жизнь осталось у Николая Герасимовича незаживающей душевной раной. Он скрежетал зубами от злости, слыша имя своего мучителя, при этом не мог удержаться от слез обиды.

Деспотизм Мишина невольно спаял семинаристов в их вражде к начальству, провоцируя их на скандалы и грубости. Досаждать начальству считалось подвигом. Пьянство, курение табаку, игра в карты постепенно сделались любимым развлечением семинаристов. Помяловский во всем этом был заодно с товарищами.

Как редкое исключение, попадались преподаватели, которым удавалось заинтересовать любознательных семинаристов. Такими прежде

всего были преподаватели словесности Архангельский и Шавров. При них интерес к истории и теории литературы особенно возрос в семинарии. С особым увлечением относился к своему курсу молодой учитель словесности Михаил Владимирович Шавров (магистр духовной академии). Он исходил в своем преподавании не только из теории, но подкреплял ее чтением выдающихся художественных произведений и эстетическим анализом. Конечно, при этом соблюдалась известная цензура: не все в литературе можно было читать семинаристам. Но чтение и «упражнение в сочинениях» заинтересовало семинарию — оно давало толчок мысли. Юноши учились заменять одни обороты речи другими, увлекались анализом того или иного литературного текста. Шавров устроил даже своего рода соревнование по писанию стихов. Помяловский участвовал в этом соревновании, написав, по его выражению, «одну стишину». Конспект Шаврова, конечно, в основном выдержан в архаическом направлении, хоть и писался он уже в эпоху знаменитой диссертации Н. Г. Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности», и давно уже зачитывались сочинениями Белинского. Но для семинарии и ее окостенелой схоластики курс Шаврова был свежим ветерком. Он несомненно содействовал обозначившемуся тогда у Помяловского повышенному интересу к художественной литературе.

В эту пору он был страстным любителем чтения и, как свидетельствует школьный его товарищ Благовещенский, поглощал все, что попадалось ему под руку, начиная с сонника или песенника до романов Воскресенского включительно.

Одновременно с интересом к чтению у Помяловского возникает потребность в записывании своих впечатлений и составлении небольших статей. Эти первые «пробы пера» особенно развиваются с изданием «Семинарского листка», школьного журнала, выпускавшегося семинаристами по инициативе Помяловского. Период «Семинарского листка» — один из важнейших этапов в школьной биографии Помяловского.

Прежде чем перейти к этой стороне его жизни, необходимо также отметить его живой интерес к философии, несмотря на то, что преподавал ее ненавистный всем Мишин.

После реформы Протасова преподавание философии в семинарии как главного предмета несколько сузилось. Только логика и психология были оставлены в среднем отделении в течение первого года. В инструкции по этому поводу говорится, что «систематические представления главных понятий о божестве, о мире, о духовности и бессмертии души человеческой с

удобностью может быть изложено (вместо метафизики) при преподавании богословия догматического и нравственного».

Вопросы о боге, о природе, о душе волновали Помяловского, который вырос в религиозной семье, да и сам был очень религиозен. Конечно, пути для правильного решения этих вопросов Мишин не мог дать. Но начало философских исканий было здесь заложено. И когда счастливый случай дал потом Помяловскому возможность познакомиться с книгами Фейербаха и статьями Чернышевского, то старый груз ортодоксальной философии, метафизики и мистики легко был сброшен. Так была заложена крепкая основа материалистического мировоззрения.

Любопытны в этом отношении некоторые записки Помяловского, опубликованные Н. Благовещенским и характеризующие интерес юного семинариста к философским проблемам. Вот некоторые из них:

«Чтобы лучше, вернее и удобнее наблюдать процесс мышления, должно взять какую-нибудь тему, мало знакомую; определить, что уже мы знаем о ней из книги, по собственному, предварительному размышлению, потом разрабатывать ее вполне самостоятельно, не пользуясь никакими внешними пособиями и источниками. Размышлять должно с пером в руках и сряду же излагать мысли в том порядке и виде, в каком они являются в голове. Потом черняк исправить на другом листе, этот исправить снова и т. д., пока, по нашему взгляду, сочинение будет готово. Все исписанное, исправленное, переиначенное и дополненное на всех употребляемых к делу листах покажет естественный путь нашей мысли, и несколько таких опытов откроют, быть может, неведомые нам законы мышления. Это должно принять к сведению, соображению и исполнению».

Мы видим в этом отрывке юного Помяловского смелую для тогдашнего его умственного уровня попытку путем опыта постичь законы мышления. Еще более показательным, в смысле отрешенности от всякой метафизической трактовки философских вопросов, является второй отрывок, посвященный этой же проблеме. Здесь мы читаем: «Тысячи лет трудится человек, чтобы разгадать устройство головы своей, чтобы овладеть тем механизмом, который вырабатывает наши мысли и понятия, чтобы потом употребить его при познании вещей. Чего человек ни придумывал, чтобы иметь надежное средство избегать при рассуждении глупостей и ошибок. Нет, не уловить этого секрета, как тени своей. Вникаешь в свою голову, следишь за полетом мыслей, подмечаешь все изменения мысли, все сцепления её, а все-таки не рассказать процесса мышления, не показать пути, по которым прошла наша мысль, — она не оставляет следов, как корабль не оставляет следа в воде, птица в воздухе.

Ни схоластика, ни диалектика, ни логика не открыли нам этого философского камня. Скажите, где причины глупости человеческой, посредственности, таланта, гениальности? Не бог это так сделал; я думаю, глупым делают человека люди же. Я думаю: человек начинает глупеть в люльке и глупеет до гроба — от отца, матери, няньки, глупых сказок, глупого баловства, и еще глупейшей строгости, от товарищей, учителей и проч. Родись я от его превосходительства, был бы такой же поросенок в очках, как и сынок его. Умным человека сделать трудно, а глупым — очень легко».

В этих строках Помяловского видны уже зародыши педагогических раздумий будущего писателя, хотя бы по вопросу о влиянии среды на формирование характера. Бурса и семинария дали немало материала для этих раздумий. Стремление к самостоятельной работе, творческая независимая мысль и склонность к литературе привели к тому, что Помяловский забросил все остальные предметы, кроме литературы и философии, и, оставаясь в рядах самых последних учеников, основное свое внимание уделил, как было указано, журналу «Семинарский листок».

«Он собирал вокруг себя, — рассказывается в одном очерке о Помяловском, — кружок товарищей, которым, как говорят, мастерски рассказывал сказки, участвовал в одном издаваемом в то время в семинарии рукописном журнале и даже написал большую часть какого-то романа, который, однако, кажется, потерян». В последние годы пребывания Помяловского в семинарии в нее проникли зачатки «новых веяний». В отрывочных воспоминаниях о Помяловском, к сожалению, мало материала для изучения этого периода семинарской жизни. Известный педагог Н. Ф. Бунаков, описывая вологодскую семинарию той эпохи, рассказывает про жандармские обыски, производившиеся там, причем жандармы находили прокламации, запрещенную литературу. Да не только в одной вологодской семинарии повеяло «свежим ветерком». Об этом свидетельствует и такой заядлый враг семинарского вольномыслия, как архиепископ Никанор херсонский, описывающий саратовскую семинарию в связи с пребыванием в ней Чернышевского.

«Нигилизма в ней, — говорит Никанор о саратовской семинарии, — скажу, и не было, но вольномыслие заводилось даже внутри семинарии. Первым и главным проводником вольных мыслей была тогдашняя светская литература, которая вся повально поражена была болезнью по меньшей мере открытой антирелигиозности, да более или менее и прикрытой антигосударственности. Кто тогда не читал даже «Колокола» Герцена? Он распространялся, якобы, скрытно, но весьма широко. До рук школьников

доходил несомненно. Несомненно, что в Саратове в начале 60-х годов были общины либералов, которые ловили семинаристов в свои сети, навязывая им книги своего духа для развития, книги по преимуществу естественнонаучного содержания. Сознаться должно, стали было появляться такие случаи внутри самых семинарий, что наставники, которые на классных уроках держали себя более или менее осмотрительно, боясь начальственного надзора, — на своих квартирах баловались вольными о религии беседами. Заводилось науськивание учеников со стороны молодых наставников против начальства, возбуждение вражды против начальства и непослушания, возбуждение к литературным обличениям начальствующих лиц».

Если даже допустить, что в этих провинциальных семинариях общественное пробуждение началось раньше, нежели в петербургской, то есть все основания думать, что связь между этими учебными заведениями существовала.

Об этом можно судить хотя бы потому, что сам Помяловский впоследствии, редактируя журнал «Семинарский листок», так говорил Благовещенскому о задачах журнала: «Мы общими силами выясним себе, наконец, идеал семинариста, узнаем наши силы, заведем корреспондентов во всех других семинариях». Ясно, что связь с другими семинариями считалась тогда Помяловским важнейшей задачей в плане именно этого общественного пробуждения. До петербургской семинарии не могло не доходить то, что делалось в стране. А период пребывания Помяловского в семинарии был во всех смыслах периодом самых страшных лет царствования Николая. В 1855 году, когда Помяловский перешел уже в среднее отделение семинарии, известный цензор А. В. Никитенко заносит в свой дневник такую запись: «Есть у Нибура следующее положение: «великие эпидемий или заразы совпадают с эпохами упадка цивилизации». Мысль эта меня поразила. Наше время как бы служит ей подтверждением. На наших глазах холера и нравственное расслабление идут рука об руку, подрывая самые светлые и великие верования».

В таком состоянии находилась страна, управляемая усмирителем декабристов, душителем всякого общественного проявления — царем Николаем I.

В 1855 году Помяловский переходит в высшее отделение семинарии. В этом году оборвалось, наконец, царствование Николая I. Тот же А. В. Никитенко, узнав о смерти Николая, заносит в свой дневник: «Длинная, и надо-таки сознаться, безобразная страница в истории русского царства дописана до конца. Новая страница перевертывается в ней рукою времени:

какие события занесет в нее новая царственная рука, какие надежды осуществит она?..»

Ужас царствования Николая I испытывал на себе каждый. Деспотизм народного душителя давал себя чувствовать повсюду. Все эти Мишины были воплощением николаевского духа. Столь ненавидевший насилие Помяловский, остро переживавший обиды «забитых», не мог не задуматься над судьбой закрепощенной страны. Журнал «Семинарский листок» — знаменательная веха в общественных исканиях Помяловского. Мы не знаем, что представляла собой основная группа сотрудников и редакторов этого журнала. Дело было уже в высшем отделении семинарии. Положение семинаристов тогда было гораздо легче. Здесь не было уже «начальствующих» бурсаков. В высшем отделении успела сложиться дружная семья семинаристов, начавшая проявлять свои общественные интересы. Особенно выявился здесь «кружок наиболее дельных». Это они выдвинули идею об издании журнала. Естественно, что энтузиастом этого журнала стал Помяловский, один из его редакторов. «Семинарский листок» выходил раз в неделю тетрадями от 3 до 5 листов мелкого письма. На первых порах материал шел самотеком, редакторы не подготавливали и не определяли содержания журнала, а только размещали полученный материал. Так или иначе, но первый номер журнала был чрезвычайным событием в жизни семинарии. Ученики были в восторге от своего достижения. Поразила всех статья «тамбовского семинариста» (псевдоним Помяловского) на философскую тему.

Статья носила довольно торжественное заглавие: «Попытка решить нерешенный и при том философский вопрос: имеют ли животные душу». В этой первой статье Помяловского не видно еще будущего материалиста и последователя Фейербаха. Религиозный в ту пору юноша, начиненный консервативно-философскими воззрениями, должен был еще пройти долгий путь, чтобы притти к Чернышевскому и Фейербаху. Благовещенский прав, — говоря, что все направление первой статьи свидетельствует, только о первобытности тех сведений по философии и другим научным дисциплинам, какие получались в семинарии. Однако семинаристам казалось, что мысли Помяловского знаменит грядущий переворот в философии. Период издания «Семинарского листка» был очень радостным периодом для Помяловского. Он был не только одним из редакторов журнала, но самым активным его сотрудником: большая часть материала была написана им. Издание «Листка» вызвало большой подъем среди семинаристов; они вскладчину стали выписывать газету, следить за политикой, устраивать литературно-танцевальные вечера и т. д. Прежних

бурсаков нельзя было узнать.

Увы! Как всегда в дореволюционной России, «за акцией следовала реакция», и «Семинарский листок» на 7-м номере, как крамольная затея, был запрещен начальством.

В последнем выпуске было помещено начало рассказа Помяловского «Махилов», который произвел на товарищей автора огромное впечатление. Все радовались, что Карась обещает быть выдающимся писателем. В этом рассказе чувствуется большое влияние Гоголя. Здесь описывается рекреация одной провинциальной семинарии, когда семинаристы справляют в поле свои майские пирушки, хором распевая свои оглушительные песни. Все это описано превосходно, «чувство общего веселия проникает каждую строку этого рассказа. Великолепно воспроизведено здесь пение семинаристами размашистой песенки «Во лузях», широко разливающейся по гладкой, как зеркало, реке и «полной русского разгула, замирающей где-то под небом». А вот описание того впечатления, которое песня производила на слушателей: «Всякий звук ложился прямо на душу. У самих семинаристов, когда они слышали в чистом майском воздухе голоса своих товарищей, от пробужденной удали затрепетали все члены и заходила в них кровь. К хору пристал другой хор и третий. Гром и сила песни еще более увеличились. А в палатках меж тем льется вино и идет вкруговую, здесь и там дымят чубуками и во многих местах под кустом шипит самовар и стучат чайные чашки. Вот она, счастливая жизнь, полная беспечности, полная товарищеского веселья».

В таких жизнеутверждающих, «языческих» тонах воспроизведена здесь также любовь героя рассказа Махилова дочери дьячка Кате. В этом рассказе нужно отметить чувство радости и бодрого восприятия жизни, дух Помяловского-Данилушки.

Чтение светских книг и журналов, которые все-таки проникали в семинарию, было оазисом, в котором Помяловский спасался от деспотической казенщины и отупляющей схоластики. Здесь оживал вольный дух «помяловщины», здесь юноша вновь обретал силы, достаточно уже разрушенные пребыванием в бурсе. Сотрудничество в «Листке» и рассказ «Махилов» свидетельствуют, что натура Помяловского могла бы развиваться и расцветать только в общественно-творческой атмосфере. И, наоборот, захваченный той или иной полосой общественной реакции, Помяловский приходил в отчаяние, метался от безысходности, впадая в тяжелое состояние.

Закрытие «Семинарского листка» Помяловский переживал, как большое личное горе. Он страшно хандрил.

«Что тут делать, Н. А., — спрашивал он печально. Благовещенского. — Ведь я рассчитывал, что «Листок» через весь курс пройдет, что мы общими силами выясним себе, наконец, идеал семинариста, узнаем наши силы, заведем корреспондентов во всех других семинариях». «Куда же теперь я дену свои досуги? Герминевтику, что ли, долбить? Дудки, брат! Лучше пить буду».

«Тоска, — рассказывает Благовещенский, — томила его; он в самом деле не знал, куда девать свои досуги, которых у него было по семь дней в неделю. От нечего делать он принялся рисовать — выходило плохо, начал нотному пению учиться оказалось, что слуха нет, хотя бас он имел громаднейший и любил пение». Более увлекательным делом для него был заведенный им дневник. Им намечалась следующая серия тем для «Семинарского листка».

«Вот мои сочинения на темы произвольные: 1) Рассуждение о том, что такое бог. 2) Заметка о людской беспечности. 3) Заметка о силе порока. 4) О погоде. 5) О бешенстве. 6) Заметка о влиянии случая на наш рассудок. 7) Что такое время. 8) Теория: имеют ли животные душу. 9) Начало неоконченной драмы. 10) Рассказ. 11) Одна глава из романа. 12) О романтической любви, размышление. 13) Остроты на философию. 14) Аллегория. 15) Подарок в день ангела самостоятельному философу. 16) Письмо к... 17) О положительной и отрицательной чепухе. 18) Заметки о разных предметах. 19) Десять стихотворений на разные темы».

«Я испытал, — пишет Помяловский, — свои силы во всех родах сочинительства и, кажется, во всех неудачно, кроме некоторых рассуждений. Я думал быть и богословом, и историком, и философом, и драматургом, и романистом, и лириком, и, кажется, никем из них быть не могу. А впрочем, кто знает».

Сомнение в своих силах, неуверенность, отсутствие стройного мирозерцания часто давало себя знать. «Недаром первая печатная его статья: «Имеют ли животные душу» — начинается такими словами: «Бог знает — может ли быть решение такого важного пункта философии предоставлено семинаристу?» А закрытие «Семинарского листка», острая депрессия, вызванная всем этим, пресекли планы Помяловского. Опять долбня. Опять война с начальством. Силы изменяли, И он махнул рукой на учебу, на гомилетику и прочую семинарскую премудрость. Он сам описал потом свое состояние:

«Задолбив несколько уроков по гомилетике, я отупел недели на две, несмотря на то, что умел уже мало-мальски отличать мысленные аномалии. Будучи поставлен в необходимость долбить учебник, изложенный

бестолково, выраженный нелепо, долбить с верхушки до корня, — вдоль и поперек, набивал свой язык на этот манер, а от напряжения и мысль моя выражалась так же, как гомилетика, и долго, долго не отстать, бывало, от слога гомилетики, пока не забудешь его наполовину. Боже мой, как уродовали нас!

Как долбили мы! Небу жарко было; на небесах варя вспыхивала».

Так шли дни за днями, печальные и беспросветные. В июле 1857 года происходили последние выпускные экзамены. Помяловский кое-как подготовился, выдержал экзамены, окончив семинарию тридцать шестым из пятидесяти учеников.

— На что я пригоден? Кем я могу быть? Какую пользу могу принести обществу? — спрашивал себя Помяловский. И ему было ясно, что лишь теперь, сбросив с себя ветхость казенной учености, он должен начать все сизнова, учиться и обрести настоящие знания. Выпущенный из семинарии, он столкнулся с бурной действительностью наступившей новой эпохи. Новая глава из жизни Помяловского тесно связана с этой знаменательной эпохой. Он вырос из нее как один из замечательнейших ее продуктов, как один из самых сильных художественных ее выразителей. Его имя запечатлено в ряду виднейших идеологов этой эпохи, в ряду таких деятелей 60-х годов, как Чернышевский, Добролюбов и другие.

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

«Виселицы, возведенные Николаем для мучеников России, стали... трибунами... для свободы. Скрытое движение новой мысли в головах и сердцах народных не прекращалось с тех пор в течение тридцати лет».

А. Герцен

1

Время Помяловского... встало перед нами в своей безобразной наготе на таком участке тогдашней жизни, как духовно-учебный «вертоград науки», в бурсе и семинарии. Царившие здесь нравы были отражением огромной государственной системы, воплощенной в чудовищной фигуре Николая I, получившего от истории достойное название Николая Палкина. Первые ростки идейно-общественного самосознания Помяловского связаны с обозначившимся крахом этой системы, когда замученная страна, наконец, вздохнула при вести о смерти Николая. По мнению одного иностранного путешественника, правительство Николая I — это «осадное положение, сделавшееся нормальным состоянием общества». Этот путешественник, маркиз де Кюстин, французский аристократ, консерватор, имевший несколько бесед с Николаем и хорошо изучивший Россию той эпохи, называет Николая достойным преемником Ивана Грозного. «Это человек, — писал Кюстин о Николае, — характера и воли, и это нужно, чтобы сделаться тюремщиком трети земного шара».

Николай подавлял не только Россию, он стал жандармом всей Европы, переживавшей такие события, как июльская революция во Франции, революция в Бельгии, польское восстание и др. Вначале весть о июльской революции вызвала в Николае решение вмешаться силой своих корпусов во внутренние дела Франции. Он стремился склонить к этому Берлин и Вену, послав туда своих генералов Дибича и Орлова. Из этого, однако, ничего не вышло. Точно так же готов он был подавить и бельгийскую революцию того же года. Когда король Вильгельм I Оранский просил его о вооруженной помощи, он немедленно отдал распоряжение о переводе армии на военное положение. Николай стал пугалом народов.

Страх стал основной пружиной всей государственной системы. А так как просвещение общественное и народное могло бы вывести население России из этого повального страха, то оно стало преступным в глазах правительства.

А. И. Герцен со свойственной ему красочностью так рисует это страшное время:

«Мы, — пишет Герцен, — страшно страдали в темном туннеле царствования Николая, но мы многому научились. Заключение в нашей исправительной империи, с кляпом во рту, попираемые ботфортами неумолимого и неограниченного фельдфебеля, с железным ошейником на шее и с палкой, занесенной над нашей спиной, мы имели много времени, чтобы смотреть и думать. Великие события не раз проходили перед отдушиной нашей тюрьмы... Восемнадцать лет царства порядка. Не было никакой надежды. Силы уходили, волосы седали. Примирились с отдыхом. Вдруг... внезапное пробуждение, бьют сбор, электрический ток пробегает по Европе. То были моменты умственного просветления в безумии... Верования восстанавливаются, паралитики ходят, и мы с неистовой симпатией смотрим на Запад. Но электрическое действие проходит, и мускулы ослабляются. Все наши надежды еще раз, еще раз раздавлены. Последние, лучшие из оставшихся, падают от истощения в этой неравной борьбе. Сначала Белинский, потом Грановский».

Такова была фигура самого Николая Палкина, таков был характер установленного им государственного режима.

Но, странное дело, именно при Николае «скрытое движение новой мысли» получает свое наивысшее развитие. Взять хотя бы деятельность В. Г. Белинского, Герцена, «людей 30-х и 40-х годов», петрашевцев, не говоря уже о великих художниках слова — о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Некрасове, Достоевском, Гончарове, Тургеневе и др. Как же это могло случиться?

Понять всю противоречивость эпохи Николая I легче всего в свете ленинского учения о развитии капитализма в России. Решающей чертой этой эпохи является все более и более углубляющийся кризис барщинного хозяйства, обусловленный напором новых капиталистических начал. На этой почве происходит расслоение дворянства, большинство которого стояло за сохранение в целостности института «крещеной собственности» и всей крепостной рутины.

В меньшинстве его созревают тенденции к преобразованию сельского хозяйства на новых капиталистических началах. Однако основная целеустремленность и дворянского меньшинства сводилась в конечном

счете к сохранению дворянской гегемонии как политической, так и экономической. Правда, среди этого дворянского меньшинства выделяются также носители подлинно прогрессивных по тому времени тенденций. Они призывают к ниспровержению самодержавия и отмене крепостного права в процессе развития буржуазно-демократической крестьянской революции. Таковы были, например, декабрист П. И. Пестель и его идейный преемник А. И. Герцен. Эти тенденции ярко обозначились, как увидим, лишь в 60-х годах. Дворянские «отщепенцы», явившиеся выразителями демократических идей в 40-х годах, смыкаются с первыми революционерами-разночинцами, — каковым являлся, например, В. Г. Белинский. В. И. Ленин, говоря о Белинском, отмечает деятельность последнего, как отражение протеста крепостных крестьян против господствовавших общественных отношений. Выражением этого протеста было также «скрытое движение новой мысли» 30-х, 40-х и 50-х годов. Именно отсюда вся преемственность передовой русской общественной мысли от Пестеля к Герцену и Белинскому и от них к Чернышевскому и Добролюбову.

Крестьянский вопрос был в центре этой эпохи. Существование крепостного права стало, помимо всего прочего, весьма убыточным для государства. Крымская война доказала, что России, даже с чисто военной точки зрения, необходимы железные дороги и крупная промышленность. А это означало необходимость уничтожения крепостного права. Протесты крепостных крестьян становились все более и более настойчивыми; участились поджоги барских усадеб, нанесение помещикам ран, сечение помещиков и покушения на их жизнь, убийства и коллективные выступления крестьян против своих поработителей.

«Крестьянский террор в царствование Николая, — говорит В. И. Семевский, — сильно ослаблял для помещиков прелесть пользования властью над «крещеной собственностью», подрывал чудовищное здание крепостного права, и оно, плохо поддаваясь частичным починкам, рухнуло разом».

Николай и его сподвижники не могли всего этого не видеть. Не будучи в состоянии идти на упразднение крепостничества, поскольку они опирались исключительно на дворянское большинство, они стали на позицию охранения его «огнем и мечом».

Между тем жизнь великой страны требовала своего. Николай старался компенсировать необходимость внутренних преобразований своей внешней политикой, одно время весьма победоносной для него. Дома же действовала «палка» ни перед чем не останавливающегося диктатора,

открыто угрожавшего народам великой страны разрушить дотла все, что посмеет «свое суждение иметь». Таким именно духом проникнуты были манифесты Николая и его вельмож. Взять хотя бы типичную для николаевского вельможи публичную речь генерала Бибикова, обращенную к студентам Киевского университета:

«У меня — держите ухо востро, делайте, что хотите, — пейте, гуляйте, ходите в публичные дома — мне дела нет. Но если вы осмелитесь хулить правительство да заниматься политическими бреднями, прощу не пенять».

Недаром Герцен писал об этом Бибикове, что «каждое его слово — палка сосновая, сухая, сучковатая. Нахальство, кровь в глазах, желчь в крови, безопасная злоба, дерзость без границ, раболепие без стыда, — все, что мы ненавидим в офицере и писаре, возведенное в генерал-адъютантскую степень, — как же было не сделать министром этого заплечного генерал-губернатора».

При помощи таких соратников, всех этих Бенкендорфов, Дуббельтов, Чернышевых и Паскевичей управлял страной Николай, образуя, по выражению Герцена, «империю солдат и розг, крепостного состояния и чиновников, немецкого абсолютизма и византийского раболепия».

Но за этой империей стояла и великая страна и великий народ, из недр которого выросла живая общественная мысль, революционное действие и замечательная художественная литература, возглавляемая такими гигантами, как Пушкин, Гоголь и Белинский.

Время Помяловского олицетворяется таким образом не только страшным именем Николая I и его опричников, но прежде всего великими именами Герцена, Белинского и их преемников — Чернышевского и Добролюбова.

Западные освободительные идеи были тогда необычайно популярны в демократических кругах России; Европа была в этом смысле «страной святых чудес». Об этом великий писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин писал:

«С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, т. е. о 40-х годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, — в этих двух словах заключается нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу

жизнь, в известном смысле даже определяло ее содержание. Я в то время только что оставил школьную скамью и инстинктивно прилепился не к Франции Луи-Филиппа (тогдашнего короля. — Б. В.) и Гизо (министра), а к Франции Сен-; Симона, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд. Оттуда лилась на нас вера в человечество, от-туда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда...»

Знаменитое письмо Белинского к Гоголю было выражением всего этого дорогого, желанного и любвеобильного, что шло к нам с Запада. Белинский гениально ярко и просто выразил в этом письме основные стремления своего времени, наметил те задачи, без разрешения которых дальнейшее развитие народного и общественного просвещения стало невозможным. Письмо Белинского — основной документ той эпохи.

«Россия, — говорится в этом письме, — видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков попираемого в грязи и навозе; права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здоровым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые современные национальные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого исполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики с крестьянами и сколько последние режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута — треххвостной плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне».

Позорная Крымская война и севастопольский крах, завершившиеся смертью Николая, были в то же время и крахом всей системы Николая и олицетворяемого им крепостнического государства. Это поражение

воспринималось всеми передовыми элементами тогдашнего общества как радостное событие, как предвестие наступающего избавления от векового гнета.

«В то самое время, — писал известный буржуазный историк Соловьев, — когда стал грохотать гром, когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой, — мы были убеждены, что только бедствие, именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему».

Мрачному царствованию Николая подведен был итог, когда Помяловский переходил в высшее отделение семинарии.

Скрытое движение русской общественной мысли пробило на поверхность, проявляя свою могучую силу и обострив борьбу классов. Мы видели, с какими препятствиями луч света зарождавшейся новой эпохи, проникал через закоптелые и грязные окна семинарии, как мучительно шел ему навстречу Помяловский, стараясь как-нибудь приобщиться к великому движению, наметить свое место в нем. Иллюзий себе Помяловский не создавал. Он знал сколь недостаточны знания, вынесенные им из семинарии, для того чтобы включиться в пропаганду новых идей, в активную общественную работу. В одной из своих записок, говоря о Канте, с философией которого он познакомился в семинарии, Помяловский пишет:

«Скажите же, насколько теперь (после чтения Канта) уничтожилось мое полуневежество, прояснился мой смысл, насколько двинулось «перед мое охтенское чувство, красноречие Ладожского канала и сила воли, ниспадающая часто на точку детской бесхарактерности. Нисколько. Темно, темно и темно...»

Сильно мучили Помяловского в ту пору вопросы перевоспитания, общественного призвания и т. д. Любопытна в этом отношении следующая его запись того же времени: «Как это тяжело до сих пор не знать, что я такое: умница или завзятый дурак, дьякон или просто пролетарий, или, еще проще, маленький великий человек. Чем я лучше и хуже других, счастливее или несчастливее... Иногда кажется, что я ко всякой работе способен, а иногда силен только на словах и в мечтах. Иногда думается, зачем я не ангел, тогда бы удовлетворял своим стремлениям; иногда думается, зачем я не кот и не крыса, тогда бы я не стремился ни к чему. А иногда, оставив

высшие взгляды, Топишь пустоту душевную в стакане водки за восемь копеек. Помню, однажды, в нетрезвом виде, я всех товарищей своих встревожил рыданиями о неразрешимости моих стремлений. Все удивлялись, пожимая плечами, не постигая, над чем это я надрываюсь».

Но долго оставаться в таком гамлетовском душевном состоянии Помяловскому не пришлось. Не таково было время и не такова была натура Помяловского, чтобы оставаться в стороне от великого движения. Жалость к униженным, к жертвам казенной педагогики, явно обозначившаяся у Помяловского уже в школьные его годы, питала теперь его интерес к педагогическим проблемам.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И НОВАЯ ЭПОХА

«Умственное движение, возбужденное в нашем обществе событиями последних годов, обратилось недавно к вопросам воспитания».

Н. Добролюбов

1

Вопросы воспитания были в центре общественного внимания новой эпохи. Педагогические журналы 1857 года связаны были преимущественно с двумя крупными именами в области нашей педагогики — К. Д. Ушинского и Н. И. Пирогова. Первая статья Ушинского, выступившего в «Журнале для воспитания», — это горячий призыв в защиту педагогической литературы.

Воспитание действует, в частности, на человека и вообще на общество, главным образом, через убеждение; а органом жизни такового является педагогическая литература. Такова основная идея этой статьи.

В двух статьях, посвященных проблеме народности в общественном воспитании, Ушинский выдвигает основные моменты современной ему педагогической литературы, знакомя с постановкой общественного воспитания в Англии, Германии, Франции, Америке и других странах. При этом Ушинский подчеркивает, что каждая педагогическая система лишь тогда достигает своей цели, когда она построена на базе определенного народного быта.

Характер каждого человека — по взглядам Ушинского — складывается всегда из двух элементов: природного, коренящегося в телесном организме человека, и духовного, вырабатывающегося в жизни под влиянием воспитания и обстоятельств, причем оба эти элемента находятся в постоянном взаимодействии. Воспитание поэтому должно строиться не на абстрактных идеях, а на началах, созданных самим народом. Ибо народность — единственный источник жизни народа в истории.

Одна из основных формулировок этой статьи Ушинского передана им в следующих словах: «Народная идея воспитания сознается тем скорее и полнее, чем более семейным делом народа является общественное воспитание; чем более занимается им литературное и общественное мнение, тем чаще вопросы его становятся доступными для всех общественными вопросами, близкими для каждого, как вопросы семейные».

Эти идеи Ушинского о народности и общественном воспитании влияли на первые литературные выступления Помяловского («Вукол», «Долбня», «Данилушка»). На него не могли не иметь большого влияния также статьи Добролюбова в «Современнике» (периода 1857–1859), посвященные обсуждению педагогических работ Н. И. Пирогова, к которым в ту пору Добролюбов относился с большим сочувствием и энтузиазмом. Позже в связи с известным отступничеством от своих идей Пирогова, ставшего попечителем Киевского учебного округа и дошедшего до оправдания в педагогии физического наказания, Добролюбов обрушился на последнего своей памфлетически гневной статьей «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».

Ранние статьи Добролюбова о Пирогове проникнуты новыми педагогическими идеями, столь характерными для той эпохи. В первой статье Добролюбова непосредственно о Пирогове сказано мало. По обычному методу публицистической критики здесь говорится больше «по поводу» книги. Но мысли самого Добролюбова отличаются здесь большой ясностью и убедительностью. Он громит «ортодоксальные» педагогические системы, в силу которых ребенок должен слушаться без рассуждений, слепо верить своему воспитателю, признавать его приказания единственно непогрешимыми; безусловное повиновение — по Добролюбову — вредно действует на чувство, убивая в ребенке смелость и самостоятельность ума, парализуя его волю. Особенно это относится к выдающимся детям, к натурам гордым, сильным, энергическим, которые при нормальном свободном развитии высоко поднимаются, проявляя во всю ширь богатство своих духовных сил. И наоборот — при казенщине и педагогической рутине они впадают в апатию или в непримиримую ненависть к своим воспитателям и делаются большей частью «отверженными» для данного общества, его заклятыми врагами и «лишними людьми».

Мысли, развитые в этой статье Добролюбова, особенно должны были волновать Помяловского, испытавшего на своей спине все ужасы варварского воспитания. Разве следующий отрывок из этой же статьи

Добролюбова не показывает всей психологии выходцев из бursы, всех этих Аксютот, Гороблагодатских, которых впоследствии показал Помяловский в своих «Очерках бursы»?

«В ожесточении против угнетавших его, — говорит Добролюбов, — воспитанник развивает в себе дух противоречия и становится противником уже не злоупотребления только, а самых начал, принятых в обществе. Разумеется, его ждет скорбная гибель или жизнь, полная скорбного недовольства самим собою и людьми, пропадающая в бесплодных исканиях с неумением остановиться на чем-нибудь. И сколько благородных, даровитых натур погибло таким образом жертвою учительской указки, иногда с жалобным шумом, а чаще просто в безмолвном озлоблении против мира, без шума, без следа».

Для Помяловского эти строки Добролюбова несомненно прозвучали с особой силой. В них глубоко прочувствована трагедия, которую столь недавно пережил будущий автор «Очерков бursы».

Вслед за Добролюбовым он берется за перо и средствами художника показывает, что главное в воспитании — это уважение к человеческой природе ребенка, предоставление ему свободного, нормального развития, внушение правильных понятий о вещах, живых и твердых убеждений; что уважение к добру и правде должно быть сознательным, а не вызванным страхом или корыстным расчетом на похвалу и награду...

Педагогические проблемы представляют в ту пору для Помяловского большой интерес. По выходе из семинарии он занялся обучением младшего брата Михаила, воспрепятствовав его поступлению в бursу. «Сам погиб, — говорил он, — но брату погибнуть не дам и в бursу не пуцую. Я расскажу ему все, до чего додумался; человеком, может быть, сделаю». Этому воспитанию брата Помяловский в течение года отдался с огромным энтузиазмом, как истый педагог, знакомясь основательно с учебной литературой и разными педагогическими пособиями. Дело дошло до того, что он сам принялся писать учебник географии и написал по этому предмету до десяти листов. Занимался он и частными уроками, поглощая всевозможные педагогические книги и журналы. Он задумывал также ряд педагогических статей и очерков, и подготовил целую серию набросков («Человек подражательный», «Человек без аттестата», и «Дневник девицы»), большей частью вошедших потом в состав его известных произведений: «Молотов», «Брат и сестра».

Все эти очерки он долго хранил, не решаясь печатать. Наконец, тщательно переписав лучший свой тогдашний рассказ «Вукол», отнес его в редакцию «Журнала для воспитания». Все это было сделано тайком от

друзей и близких с обычной конспирацией и робостью начинающего автора. Рукопись была им вручена редактору Чумикову, как рукопись некоего Герасимова, просившего, мол, отнести в редакцию и узнать о последствиях.

По обыкновению, редактор, приняв рукопись, назначил две недели срока. Томление, обычные переживания начинающего автора и... наконец, радость — рассказ принят и напечатан на видном месте в той книге (за 1859 г.) «Журнала для воспитания», в том самом журнале, где печатались лучшие писатели по педагогическим вопросам. Редактор журнала Чумиков высоко оценил рассказ, отметив способность автора к тонкому психологическому анализу и незаурядное мастерство художника.

«Вукол», действительно, заслуживает высокой оценки. Этот рассказ в 16–18 страничек волнует нас до пор как важностью своей основной педагогической проблемы, так и силой своей художественной выразительности. Художник-гуманист, поэт детской души, идет здесь рука об руку с боевым публицистом, страстно и убежденно отстаивающим новые передовые идеи общественного воспитания. Уже здесь Помяловский виден как соратник Добролюбова. В «Ву-коле» предвосхищен тот пафос негодования против телесного наказания детей в школе и в семье, который нашел свое достопамятное выражение в статьях Добролюбова: «Всероссийская иллюзия, разрушаемая розгами» («Современник» 1860 г., № 1) и «От дождя да в воду» («Современник» 1861 г., № 1). В этом рассказе о некрасивом, но добром и здоровом мальчике Вуколе Таранове, попадающем сироткой на воспитание к тупому и злобному дяде, непреклонному стороннику розг, детская трагедия истязуемого и озлобляющегося Вукола воспроизводится в чисто диккенсовских тонах. Перед нами два уклада воспитания.

Вот мирная и достаточная семья. Отец и мать с любовью относятся к некрасивому ребенку. Скоро он лишился отца. Но мать и няня, их мирная жизнь, ласковое воспитание, доброта — содействовали тому, что мальчик рос неглупым и добрым. Доброта светилась даже в безобразном его лице, особенно в его умных глазах. Мастерски показывает здесь Помяловский душевный мир ребенка, растущего в условиях здорового и нормального воспитания. Мы видим, как преломляются в его восприятии сказки о ведьмах, Иванушках-дурачках, царевнах, богатырях, сапогах-самоходах, сивках-бурках, живой и мертвой воде; как сказочное сочетается в его душе с детской религиозностью. Страницы о семилетнем Вуколе проникнуты глубоким знанием психологии этого детского возраста, его своеобразного словаря, игр, затей, тайн и т. д. Со смертью матери счастливая пора детства

Вукола кончается, и вместе с этим обрывается развитие положительных сторон его характера: любознательности, жизнерадостности и доброты. Он попадает к дядюшке-помещику, холостяку, владельцу сорока душ, привыкшему в своем крепостном хозяйстве рассыпать сильные плюхи направо и налево, обливать ругательствами всех своих подчиненных. Незабываемо яркие страницы «Вукола», где описаны издевательства дядюшки и порожденное ими душевное состояние мальчика.

Это — один из лучших рассказов русской литературы своему глубокому гуманизму, по яркости изображения детской души, по серьезности педагогически-публицистических проблем, в нем поставленных. Помяловский не ограничивается только ролью художника; в качестве публициста он часто вмешивается в ход повествования, сопровождая изображение своих художественных образов страстными негодующими речами против угнетения личности ребенка, призывами в защиту его прав на счастливое и радостное детство, на нормальное развитие его способностей.

В «Вуколе» уже вырисовываются основные тенденции Помяловского-художника, одного из зачинателей революционно-демократического реализма; здесь на наших глазах формируются его эстетические воззрения, нашедшие потом свое широкое развитие в главных произведениях («Мещанское счастье», «Молотов», «Очерки бурсы», «Брат и сестра»). Этим произведениям предшествовал еще ряд опытов художественно-педагогического жанра. Таковы «Данилушка» и «Долбня».

В центре этих рассказов также лежит проблема развития детской души, показ различных методов воспитания и изображение семейно-учебного и бытового уклада. Эти незаконченные рассказы глубоко автобиографичны. В «Данилушке» мы имеем художественный вариант детства Помяловского. Здесь показан семейный уклад, где воспитание обеспечивает нормальное развитие мальчика умного и изобретательного, знакомящегося «наглядно», не по учебникам, со всем многообразием окружающей его природы. «Данилушка» задуман, как большая автобиографическая повесть. «Еще по выходе из семинарии, — сообщает Благовещенский, — он (Помяловский) начал писать большой рассказ «Данилушка», намереваясь героя рассказа провести через всю бурсу и таким образом изобразить при этом полную картину бурсацкого воспитания». Но Помяловский успел довести своего Данилушку только до бурсы. Мы увидим в дальнейшем, что часть «Очерков бурсы» является продолжением «Данилушки».

Помяловский уже тогда, очевидно, задумал серию автобиографических

повестей. Эти повести должны были быть отражением биографии нового человека эпохи 60-х годов. Но человек еще только начинал складываться, материала для итогов еще не было, перспективы были смутны. Это одна из главных причин, почему у Помяловского так много неоконченных произведений.

Рассказ «Долбня» написан непосредственно после «Данилушки» в 1859 году, но помещен был в журнале «Воспитание» под редакцией того же Чумикова лишь в 1860 году с подзаголовком «Воспоминание из училищной жизни» под псевдонимом «Н. Герасимов».

12 марта 1859 года Помяловский писал Благовещенскому: «Я отдумал писать о бурсе, потому что не могу быть беспристрастным в этом деле. Я уже собрал материалы, листов до 16-ти (писчих), составил было и отрывок под заглавием «Долбня», редактор уже согласился отпечатать... Но тут-то я и понял, что не мне предавать бурсу, и выпросил статью назад. Чорт с ней, с бурсой! Ну ее!..» Однако во время безденежья Помяловский отдал Чумикову «Долбню».

Этот рассказ с «Данилушкой» объединяет один и тот же герой — Данила. В «Долбне» впервые бегло показана бурсацкая педагогика, сводившаяся к механическому заучиванию разных схоластически-непонятных предметов без уяснения смысла. Как в «Вуколе», так и в «Долбне» пред нами переживания мальчика, попадающего из нормальной обстановки благоприятного детства в условия варварской учебы, в школьный быт, построенный на истязании розгами, на издевательствах над личностью учащегося.

В «Долбне», помимо показа бursы и ее нравов, повторяется вариант детского приволья Данилы, его жизни на фоне приволжской деревни; вариант, воспроизведенный уже в рассказе «Данилушка». Но «Долбня», как и «Данилушка», — незавершенные произведения. Они только свидетельствуют, в каком направлении сосредоточены были творческие интересы Помяловского, стремившегося создать художественную «Историю молодого человека» своего времени. К этим первым своим художественным опытам Помяловский относился весьма строго, считая их безделкой, скрывая от знакомых свое авторство, краснея при хороших отзывах о них. Однако уже и эти первые рассказы носят на себе признаки художественного таланта Помяловского. Написанные ярким свежим языком, эти рассказы согреты темпераментом художника-публициста, откликающегося на жгучие проблемы своего времени. Двадцатитрехлетний Помяловский особенно серьезно относился к задачам художественной литературы и был весьма невысокого мнения о тех знаниях, какие он вынес

из семинарии. Мы уже знаем, как неустанно он работал по выходе из нее над своим самообразованием. Помяловский стремился к все большему расширению круга своих знаний. Это была заветная его мысль, в которую он охотно посвящал своих знакомых. Об этом Помяловский говорил и своему первому редактору Чумикову; последний уже тогда весьма ценил талант своего молодого сотрудника и предлагал ему постоянное сотрудничество в своем журнале. Чумиков посоветовал Помяловскому поступить в университет.

Петербургский университет в период слушания в нем лекций Помяловским также переживал свою эпоху «бури и натиска».

Университетское оживление началось с 1856 года, когда постепенно стал меняться общий склад студенчества и его социальный состав. В тот год был устранен от должности попечителя или куратора действовавший в последнее десятилетие царствования Николая I М. Н. Мусин-Пушкин. Этот сатрап всячески сковывал студенческую инициативу, ограничивая также власть Профессоров, выдвигая на первый план значение инспекторов. Своеобразный портрет, этого куратора или, как его называли, обскуратора дают нам мемуары той эпохи. Всегда надутый Мусин-Пушкин являлся на лекцию с длинным костылем в руках и тут же принимался ругать кого-нибудь за длинные волосы или непочтительный поклон, делая также грубые замечания профессорам в присутствии студентов.

Количество студентов в петербургском университете того времени было сравнительно небольшое.

Норма в 300 человек не всегда заполнялась. После ухода Мусина-Пушкина двери университета значительно распахнулись под влиянием нового общественного подъема; пришла новая студенческая молодежь, потребовавшая права на общественную инициативу, своего участия в решении основных университетских вопросов. Студенческие корпорации и сходки стали неотъемлемым явлением университетской жизни. В 1854 году студентов было 159, а в 1859 году стало около 1 000 человек, вместе с вольнослушателями. В число вольнослушателей можно было вступить и при отсутствии аттестата об окончании гимназии. Кроме того на лекциях популярных профессоров можно было встретить немало посторонних юношей и девушек, а также сухопутных и морских офицеров.

Студенты стали издавать свои «Студенческие сборники» и

организовали в 1857 году «Кассу бедных студентов». Источниками средств для «кассы» были: взносы со стороны достаточных студентов; и сборы с концертов. Для увеличения средств «кассы» устраивались публичные лекции популярных профессоров, вызывавшие огромный наплыв публики. С января 1858 года по 1859 год роздано было нуждающимся студентам в виде невозвратных и заимообразных ссуд до 9 000 рублей и 3 000 рублей получено с концертов.

Росла студенческая вольница. Молодежь горячо встречала любимых своих профессоров аплодисментами, а неугодных гнала с кафедры шиканьем и свистом. Такое поведение студентов стало скоро не по душе правительству Александра II.

В декабре 1858 года издано было распоряжение министерства народного просвещения о воспрещении аплодисментов, а также знаков неодобрения под угрозой исключения. Одновременно профессорам было поставлено на вид суетное искание популярности среди студентов и предложено «нравственным влиянием своим на слушателей направлять их к истинной цели просвещения». В мае 1859 года объявлено было, что вне университета студенты наравне со всеми на общем основании подлежат полицейским установлениям и надзору. Резкое обострение недовольства студентов началось с 1860 года, когда, по выражению одного из прогрессивных тогдашних профессоров В. Д. Спасовича, «идет целый ряд маленьких происшествий, произвольных движений, вспышек и столкновений с попечительской властью». Либеральные профессора стремились найти путь примирения и соглашения между студенчеством и начальством. Но эта линия потерпела крушение. Демократическое студенчество все больше и больше революционизировалось, становясь действительно передовым отрядом революционных шестидесятников.

В это время Помяловский усердно посещал университетские аудитории, слушая с огромным энтузиазмом лекции популярных профессоров того времени. Первое посещение университета, Знакомство со студентами, вольнослушателями и остальной публикой, заполнявшей университетские аудитории, сильно взволновало его. В эти дни он ходил, как помешанный, не ел, не спал, — переживал душевную борьбу. От этой борьбы он исхудал, ослабел, его никто узнать не мог. «Неужели, — спрашивал он, хватаясь за голову, — неужели все, чему я учился, над чем я

всю жизнь ломал голову, все это ерунда? И я до сих пор не знал этого! Неужели снова надо учиться с азбуки?»

Помяловский усердно вникает в смысл прослушанных лекций, прорабатывая соответствующую литературу. Происходит коренная ломка всех усвоенных в школьные годы понятий. Он мужественно совершает эту переоценку всех ценностей, выкорчевывая отжитые взгляды и мертвые схемы. Смелые страшные опыты, — свидетельствует Благовещенский, — Помяловский делал над собою, чтобы проверить себя и убедиться, что в его прошлом нет теперь никакой силы.

Целый год продолжалась эта усиленная философская перестройка. О направлении и характере ее можно судить по тому материалу, который дает нам, хотя и бегло, но чрезвычайно наглядно сам Помяловский в четвертом очерке бурсы — «Бегуны и спасенные бурсы». Он изображает здесь путь развития различных категорий бурсаков по выходе их на волю из стен семинарии.

Вот как описывается путь «бурсаков материалистической натуры», когда для них наступает время брожения идей, когда возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, и начинается ломка убеждений.

«В такой период, — пишет Помяловский, — эти люди, силой своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например, вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам, после того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовное звание, считая делом непорядочным — проповедывать то, чего сами не понимают, и за это кормиться за счет прихожан. Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им в качестве материалистов приходится отрицать, но потом находят в себе силы помириться со своим отрицанием, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные, и, если не вдаются в эпикуреизм, люди деловые, которыми все дорожат».

Путь «бурсаков материалистической натуры» широко известен истории русской общественной мысли. Это путь Чернышевского и Добролюбова. По этому пути пошел и Н. Г. Помяловский.

В этих же «Бегунах и спасенных бурсы» Помяловский рисует отвратительный тип бурсака-атеиста, надевающего рясу, ради корысти обманывающего простаков. Родственники Помяловского тянули писателя на такую же дорожку, уговаривая его пристроиться хотя бы на дяконовское

место: на литературные заработки надежд мало было, а семью надо было поддерживать. Вначале Помяловский не имел сил противиться этому напору близких, отыскавших ему невесту, закрепленную на дьяконовское место. К счастью, невеста, узнав о склонности жениха к вину, отказала ему. В другой раз повезли Помяловского на смотрины в Царское село, обрядив жениха во фрак, но жених сбежал с дороги. И с тех пор близким и самому Помяловскому стало ясно, что путь священнослужителя отрезан для него.

Слушание лекций в университете и педагогические интересы возымели свое влияние. Скоро Н. Г. Помяловский весь отдался делу преподавания. Вместе с группой студентов он стал преподавать в воскресной школе, находившейся на Шлиссельбургской дороге.

Люди 60-х годов с большим энтузиазмом отдавались делу народного просвещения, делу поднятия культурного уровня широких трудовых масс. На этой почве и возникли воскресные школы, ставшие знаменательным общественным явлением 60-х годов. Ядром воскресных школ послужили бесплатные неофициальные школы 1858 года, подготовлявшие детей бедных родителей в разные учебные заведения. 22 февраля 1859 года открыта была официально так называемая Таврическая школа, где преподавала группа молодежи из офицерства инженерных войск, во главе с инженером бароном Конисским. Преподавали бесплатно и занимались здесь преимущественно неимущие рабочие, ремесленники и т. п. Здесь и возникла первая воскресная школа. Эта инициатива была скоро подхвачена не только в Петербурге, но по всей стране. Школа открывалась за школой. Приток учащихся был огромный. Дети, юноши, девушки и пожилые бородатые люди сидели рядом, ликвидируя неграмотность и приобщаясь постепенно к культуре. Воскресные школы существовали до того в некоторых странах Европы, но там они носили преимущественно конфессиональный, то есть строго религиозный характер. Воскресные же школы 60-х годов были проникнуты совершенно противоположными тенденциями. Здесь стремились с первых азов вырабатывать у учащихся реалистические Воззрения.

Широкое общественное движение разрасталось вокруг воскресных школ. В самом Петербурге к 1 января 1860 года возникло 20 воскресных школ. Одной из самых значительных была школа на Шлиссельбургском тракте, где с 20 октября 1860 года преподавал Помяловский. В этой школе

было до 800 учеников и около 70 преподавателей при двух сменах — утром и вечером.

Помяловский отдался этому делу с большим энтузиазмом. Успев после окончания семинарии накопить значительную эрудицию по педагогической литературе, Помяловский занял в этой школе руководящее место. В педагогической деятельности Помяловского проглядывала знакомая нам уже его черта — забота о малоспособных, так называемых «дураках». Он изыскивал разные оригинальные средства преподавания, чтобы все-таки научить этих малоспособных читать и писать. Обучение грамотности он считал делом первостепенной важности. «Выучив одного, — говорил Помяловский, — я таким образом выучу грамоте все его поколение, потому что грамотный отец не потерпит безграмотных детей, а грамотный человек дорогу сам себе найдет».

Помяловский уже в своей практике преподавания в воскресной школе проявил стремление к большим масштабам, к широким обобщениям. Он выдвигал план об организационном объединении всех воскресных школ, о соответствующем педагогическом издании, где помимо общих научно-руководящих статей печатались бы в порядке обмена опытом всевозможные очерки. Ему принадлежит мысль об издании брошюр и книг, а также специальной народной библиотеки. В сохранившихся отрывках его большого доклада на общем педагогическом собрании воскресных школ много замечательных положений в защиту наглядности обучения, против механического заучивания. Эти положения Помяловский даже в докладе обосновывает прежде всего как художник, привыкший к образному мышлению. Основной тезис Помяловского в этой части доклада, трактующей вопрос о наглядности обучения, сводится к следующему: очень часто юноша, окончивший обучение, приступая к анализу приобретенных им знаний, в итоге находит у себя не познания, а одни только слова. Это происходит, по мнению Помяловского, не только от механического зазубривания, но также и от системы отвлеченного преподавания или, как сам Помяловский называет его, «долбней с диалектическим оттенком». Оттого он горячо призывал, чтобы и «объем преподавания входили только те предметы, о которых можно иметь реальные представления». В другом отрывке статьи о воскресных школах, опубликованном впервые в 1935 году (в полном собрании сочинений Помяловского, изд. «Academia»), выдвинут ряд интересных вопросов; среди них оригинально трактуется вопрос о народности в воспитании. Об основной идее воскресных школ Помяловский пишет:

«Все поняли, что низший класс так много сделал для высшего — он

построил им гимназии, университеты, академии, лицей, на его подати выучились и смягчили свои нравы, на его подати ездили за границу и привезли оттуда западное просвещение, так много, говорим, что многие согласились за честь участвовать в школе. Вспомнили народ, захотели сблизиться с ним, приподнять его дух и развить до того, чтобы можно было понимать одному другого».

К этой проблеме о взаимоотношениях народа и интеллигенции, а также к проблеме нового, типа интеллигента-плебея Помяловский вскоре подошел в своем первом романе «Мещанское счастье». В статье о воскресных школах он касается этой проблемы только мимоходом. В центре внимания этой статьи стоят чисто педагогические вопросы, проблема радикального перевоспитания необразованных людей. Помяловский подчеркивает также, что гуманность воспитания связана со всей системой общественных отношений. «Гуманность, — говорит он, — такое свойство души человеческой, которое, не будучи связано с другим свойством — практичностью, является очень милой принадлежностью характера того или другого лица, но в то же время принадлежностью комической, превращаясь в фразу, «в гуманный мыльный пузырь».

«Отчего, — спрашивает Помяловский, — такие многоуважаемые лица, как Пирогов и Киттары, когда пришлось применять принципы к делу, не могли выпустить розги из рук». И Помяловский отвечает, что принцип (т. е. гуманное воспитание — Б. В.) может быть привит к жизни только при всестороннем и новом изучении дела, что надо выходить, наконец, из кабинетов и вглядываться в каждое лицо ученика, — чтобы знать, что надо делать. Сам Помяловский настойчиво шел по этому пути, стараясь решать всю совокупность этих проблем в свете основных общественных устремлений новой эпохи.

До закрытия правительством воскресных школ, последовавшего 13 июня 1862 года, Помяловский ревностно работал на поприще педагога-распорядителя. А по уставу воскресных школ — распорядитель характеризовался, как выбранный из среды учителей представитель и уполномоченный школы во всех делах, исключая особых полномочий. В ведении распорядителя «находятся все денежные и материальные средства школы», он же образует кружки учеников, заботится об учебниках для них и консультирует их по важным вопросам преподавания.

На этих двух важнейших пунктах тогдашней общественной жизни — воскресных школах и на посещаемых им публичных университетских лекциях — Помяловский получил возможность познакомиться с лучшими людьми своего времени, сразу почувствовавшими в Николае Герасимовиче

его выдающиеся духовные силы. Известный тогда педагог-словесник М. М. Тимаев, наблюдавший за преподаванием в воскресных школах, одним из первых обратил свое внимание на оригинальный метод преподавания, отличавший Помяловского от других учителей. Через Тимаева Помяловский познакомился с К. Д. Ушинским, бывшим тогда инспектором Смольного института. В этом институте, где училось около 700 девиц, была тогда намечена целая реформа преподавания. Ушинский сгруппировал около себя блестящих педагогов из бесплатной Таврической воскресной школы. Он же пригласил Н. Г. Помяловского преподавателем русского языка младших классов института. Ушинский очень высоко оценил метод преподавания Помяловского, но последний недолго оставался в Смольном по чисто принципиальным причинам, он не одобрял царившей там постановки преподавания, сводившегося к механическому заучиванию по учебнику. А платили в Смольном по тем временам весьма хорошо. В деньгах же Помяловский очень нуждался, но высокая принципиальность взяла верх над материальной нуждой. И он оставил Смольный, усердно продолжая работать в воскресных школах.

Великолепный портрет Помяловского на фоне его деятельности в воскресной школе дала Е. Н. Водовозова, имевшая возможность его наблюдать, как преподавателя. «Его густые, вьющиеся, волнистые темно-русые волосы были закинута назад. Красивые голубые глаза, благородный открытый лоб, подвижные черты лица и удивительная приветливая улыбка на губах — все делало его чрезвычайно симпатичным». А вот Николай Герасимович в роли преподавателя: «Он с такой доброй улыбкой провел рукой по волосам белобрысого мальчика, что, видимо, сейчас же расположил того в свою пользу. В то время как Помяловский перелистывал книгу, чтобы выбрать что-нибудь для своего ученика, тот спросил его:

«Скажите, дяденька, как это пророк Илья так гулко громыкает по небу? Ведь на нем нет ни каменной мостовой, ни мостов». Помяловский громко расхохотался, ему вторили его ученики. Затем он (Помяловский) так просто начал рассказывать о небе, и тучах, и громе, и молнии, что под конец мальчик воскликнул: «Значит, про пророка Илью только сказки сказывают?». Во время этого объяснения к Помяловскому подходили и другие ученики, без церемонии оставляя своих учителей, и, наконец, около него образовалась целая группа, из которой то один, то другой спрашивал его о чем-нибудь. Помяловский встал с своего места и с неподражаемой простотой, то добродушно посмеиваясь, то сопровождая свои объяснения русскими поговорками и пословицами, разъяснял недоумение детей. Скоро все присутствующие в школе ученики и учителя обратились в одну

аудиторию и внимательно слушали в высшей степени занимательные объяснения Помяловского».

Метод объяснений Помяловского был до того замечательный и оригинальный, что о нем пошла молва не только в среде преподавателей, но и в широких кругах интеллигенции. Многие настолько заинтересовались беседами Помяловского с учениками, что стали аккуратно посещать школу на Шлиссельбургском тракте.

В этот период Помяловский работал не только над вопросами школы. Он изучал Фейербаха, следил за тогдашней передовой журналистикой, впитывал в себя те идеи, выразителем которых был «Современник» и его боевые руководители Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов.

Волновали Помяловского проблемы художественной литературы новой эпохи, ее эстетического новаторства.

Он пристально следил за новым «героем» времени, за боевым типом 60-х годов, пришедшим с новыми идеями, с открытым вызовом отживающему дворянскому обществу, явно презирая барскую мораль и барскую эстетику.

Помяловский задумывает тогда свои основные произведения, которые связали его имя с общественным движением эпохи 60-х годов. Отныне Помяловский-писатель идет рука об руку с идеологами этой эпохи— Чернышевским и Добролюбовым — в освещении коренных вопросов поднимавшегося тогда общественного движения. Как памятник этой эпохи, как яркое художественное ее воплощение встает перед нами творчество Помяловского.

УЧЕНИК ЧЕРНЫШЕВСКОГО

«Самые великие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов... а с другой стороны, движение рабов в России».

Из письма Карла Маркса к Ф. Энгельсу

1

О шестидесятых годах рассказано художниками, историками и авторами мемуаров больше, пожалуй, чем о любом периоде старой русской истории.

Эта эпоха для целого ряда революционных поколений надолго осталась самой светлой страницей нашей освободительной истории.

Скрежет зубовой, с одной стороны, и восторженный лиризм, с другой, — пронизывает всю литературу о шестидесятых годах.

Острая непримиримая классовая борьба отличала «верхнее» и «нижнее» течения тогдашнего общества. Движение рабов выразилось тогда в неукротимых крестьянских волнениях, под напором которых правительство вынуждено было приступить к упразднению крепостного права. Правящее дворянство было сильно обеспокоено, увидев, что в связи с этой реформой выдвинуты коренные вопросы государственной и общественной жизни и что сильно зашатались крепчайшие основы всего векового уклада «крещеной собственности. Уже нельзя было келейно решить вопрос о крепостном праве, замыкаясь в сановно-бюрократических комитетах.

Общественные вопросы стали обсуждаться бурно, настойчиво и в широчайших масштабах.

И, главное, пришли совершенно неведомые до тех пор люди в качестве подлинных руководителей общественного мнения, как идеологи невиданной силы. Это они выдвигали социальные проблемы, приводившие в ужас охранителей самодержавия и дворянского господства.

Революционные демократы 60-х годов, в отличие от разных либеральных хлюпиков, не создавали себе никаких иллюзий насчет царя и дворянства и их «освободительных» мероприятий. Оттого так ненавистны

стали дворянству разночинцы, нигилисты, семинаристы, как прозваны были шестидесятники-демократы. Они пришли в общественную жизнь с неукротимой жаждой ко всему дворянскому и барскому. Выходцы бедного чиновничества, низшего духовенства, мелкого купечества и крестьянства, они слишком долго чувствовали на себе гнет крепостничества, барского высокомерия и царского произвола. Их жизнь была в непримиримом антагонизме со всем жизненным ладом господствовавшего класса. Каждый разночинец мог бы сказать о себе словами Помяловского: где нам в барство лезть, не тем пахнем, да и жизнь-то была у нас не барская, друг друга не поймем».

Шестидесятые годы замечательны именно этим резким отмежеванием революционной демократии от всего барского, безразлично какой бы оно ни было масти.

Ко всем установленным до них идейным ценностям шестидесятники подходили с нескрываемым скептицизмом. Они объявили войну всякой отвлеченной этике, всякой «не от мира сего» красоте, всякому идеалистическому прекраснодушию.

2

Знаменитый «внук Карамзина», князь В. П. Мещерский, в течение нескольких десятилетий бывший самым авторитетным публицистом дворянской реакции, приближенным царей и «высших сфер», рассказывает в своих «Воспоминаниях», сколь неожиданны были для него и его среды люди и идеи 60-х годов.

Вот типичный революционный шестидесятник-разночинец, И. П. Огрицко ^[3], служивший секретарем у тетки Мещерского. Этот «нигилист» изумлял Мещерского «тонкой иронией»; ко всему, что делалось правительством, относился не только скептически, но насмешливо, считая, что все мероприятия правительства только ребячество в сравнении с тем, что нужно. А нужно было, по его мнению, радикальное изменение всего общественного и государственного строя жизни, нужна была революция. Огрицко уверял Мещерского, что революционно настроенными людьми кишат все канцелярии, департаменты, все университеты, что они везде и только слепые их не видят. Мещерскому «новые люди» 60-х годов, которых он встречал на собраниях у Огрицко, само собой разумеется, показались страшилищами.

«Фигуры эти, — вспоминает Мещерский, — немытые, нечесанные,

гадкие, и выражением и физиономиею доселе во мне воскресают живыми, и когда, после нескольких минут побывки у Огрицко, я вышел на улицу, я почувствовал, что вышел из какого-то душного смрада».

Эта встреча сиятельного аристократа с пришедшими на арену общественной жизни разночинцами-плебеями чрезвычайно знаменательна. Она весьма типична для той эпохи и характеризует классовую борьбу 60-х годов. Недаром этот антагонизм между плебеем и аристократом, как увидим, станет основным социально-психологическим мотивом в творчестве Н. Г. Помяловского.

Революционные демократы были прежде всего выразителями идей многомиллионного крестьянства, его стремления к полному освобождению от какой бы то ни было дворянской опеки. Между тем вся реформа сделана была царем прежде всего в интересах самих дворян. Это довольно недвусмысленно и неоднократно давал понять дворянству сам Александр II. Неизбежная уступка в виде куцей реформы делалась для того, чтобы сохранить еще надолго политическое господство дворянства и крепкую экономическую базу для него и при господстве новых капиталистических отношений. Александр II пролил немало народной крови во имя сохранения дворянской гегемонии.

Уже в 1858 году царь принимает ряд мер, чтобы держать крестьянство в рамках традиционного повиновения, и с этой целью настаивает на учреждении временных генерал-губернаторств. Заметки Александра II на докладе по поводу назначения генерал-губернаторов свидетельствуют, как этот «освободитель» готов был при надобности потопить крестьянство в крови. Месяца полтора после «освободительного» манифеста вся страна переживала ужас кровопролития в Бездне, Казанской губернии, и казни раскольника-крестьянина Антона Петрова за его толкование манифеста в смысле «полной воли» крестьянству. Эта бессмысленная расправа вызвала студенческие волнение в Казани и знаменитую негодующую речь проф. Щапова, за произнесение которой он подвергся аресту и высылке. По поводу этих кровавых расправ в Бездне А. И. Герцен, негодуя, писал:

«Где родились эти кровожадные флигель-адъютанты? Где воспитались эти импровизированные палачи? Как их дрессировали на такие бездушные злодеяния? Правительство допускает убийства за своё косноязычие, безграмотность и двоедушие! И за то, что народ не понимает и верит, что правительство его не обманывает, — пять залпов!.. Кровь дымится, трупы валяются! Правительство прогресса, либеральных идей, поддерживаемое штыками и статьями Погодина, лизнуло польской крови и пошло вниз, — кровь скользка!»

Казанское дворянство хотело дать обед в честь кровавого генерала Апраксина, усмирителя безднненских крестьян; но потом решило, что «как-то неловко кровь заливать шампанским». — «Жаль — писал Герцен по этому поводу, — что помешали. Маски, маски долой! Лучше видеть звериные зубы и волчьи рыла, чем поддельную гуманность и покорный либерализм»,

«Освободитель Александр II не преминул скоро показать себя во всей наготе кровавого палачества, показать звериные зубы и волчью пасть самодержавия. Сорвана была маска поддельной гуманности и фальшивого либерализма. Но на первых порах надо было играть в реформы, чтобы выиграть время, чтобы затем надолго обеспечить господство дворянства в союзе с буржуазией.

Люди 60-х годов были носителями демократической тенденции — полного разрыва с феодализмом. В силу этой тенденции совершалась тогда полная идеологическая переоценка всех духовных ценностей дворянской культуры и закладывались основы нового философского мирозерцания.

В напряженной работе над обоснованием этого нового мирозерцания и сказалась огромная творческая энергия 60-х годов. Появился совсем новый читатель с общественными идеалами и интересами. Тогда литература стала по-настоящему общественно-воспитательной силой. Писатель искал новые идеалы, намечал будущее и пути к нему, указывал новые цели и новые формы человеческих отношений на широко демократической основе. Все эти вопросы о новом изучении общественных типов и о новом типе писателя захватили ум и сердце Помяловского. Он с напряженным вниманием следил за обсуждением этих вопросов в боевом журнале революционной демократии, в «Современнике». Непосредственная связь Николая Герасимовича с «Современником» и его редакцией начинается с появления в феврале 1861 года на страницах этого журнала повести «Мещанское счастье». Но в орбите влияния «Современника» Помяловский находится уже по выходе из семинарии.

В эти годы влияние «Современника» на нового демократического читателя было огромно. Толстый журнал в России уже в период Белинского стал играть исключительную роль. Известно, что к концу каждого месяца студенты стояли в очередях за книжкой журнала со статьей Белинского. Журнал тогда заменял парламент, клуб, литературно-общественные коллективы и организации. В период подготовки реформ в 1856–1858 годах стала выходить масса листков, газет и журналов. Одни появлялись, другие исчезали. Тогда говорили, что одними объявлениями об изданиях можно

было бы оклеить колокольню Ивана Великого. Тут были всевозможные издания, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные, научные, политические, вплоть до летучих листков.

Идейный расцвет тогдашней журналистики начинается с 1859 года. В этот период «Современник» достиг невиданного размаха и огромного влияния на общественное мнение; велик был авторитет его руководителей как боевых пропагандистов революционно-демократических идей. В одном докладе Главного управления цензуры за 1860 год «Современнику» дается в общем весьма верная характеристика:

«Проникаясь одною системою, служа органом для обсуждения важнейших интересов современной жизни и науки, журнал оставляет прочные следы в памяти современников и, несомненно, влияет на направление мыслей и действий своих читателей. «Современник» за май вполне обнаруживает свое преобразовательное направление, выражающееся в решительном отрицании всех установленных начал в области политической, юридической, семейной, философской; все старое, одинаково понимаемое всеми благомыслящими, обращается в бредни, в глупую фантазию отсталых людей, в обоготворение личных страстей, в поклонение авторитетам». Общий вывод этого доклада — что статьи «Современника» «потрясают основные начала монархической власти, значение безусловного закона, семейное назначение женщины, духовную сторону человека и возбуждают ненависть одного сословия к другому». Таково свидетельство охранителя тех общественных начал, против которых «Современник» вел борьбу не на жизнь, а на смерть.

Уже из этого документа видно, насколько многогранна была деятельность «Современника», охватившая основные социально-политические и философские проблемы эпохи.

Говоря об общем направлении «Современника» и об основных социально-политических и эстетических проблемах, в нем поставленных, надо иметь в виду ту характеристику, которую Ленин дает Н. Г. Чернышевскому как главному руководителю этого журнала. «Либералы, 1860-х годов и Чернышевский, — подчеркивает Ленин, — суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени (писано Лениным в 1911 году. — Б. В.) определяют исход борьбы за новую Россию». «Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение

всех старых властей»

Таковы были идеи, проводимые Чернышевским, а также Добролюбовым на страницах «Современника», уже тогда олицетворявшегося именами этих двух своих руководителей. Эти идеи, как мы уже знаем, и воспринимал Помяловский от «Современника». «Статьи гг. Чернышевского и Добролюбова, — свидетельствует Благовещенский, биограф и друг Н. Г. Помяловского, — имели громадное значение в деле его умственного развития; он перечитывал их по нескольку раз, вдумываясь в каждую фразу».

«Я вас уважаю, — писал Помяловский Чернышевскому, — мало того, я ваш воспитанник — я, читая «Современник», установил свое миросозерцание».

Идеи Чернышевского и Добролюбова нашли свое художественное воплощение в произведениях Н. Г. Помяловского, появившихся в «Современнике» в 1861 году и поставивших его в ряды «первой молодой силы» этого журнала.

Но приход Помяловского в этот журнал и то значение, которое он получил здесь, стали возможны в результате внутриредакционной борьбы, происходившей в самом «Современнике» между представителями «двух исторических тенденций». Борьбы, закончившейся полной победой Чернышевского и Добролюбова.

3

В шестой книге «Современника» за 1860 год было напечатано следующее заявление редакции:

«Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого Тургенева».

Итак, с одной стороны, Тургенев перестал одобрять образ мыслей «Современника», а с другой стороны, последние повести Тургенева перестали соответствовать взглядам руководителей журнала. О каких же последних повестях Тургенева идет здесь речь? И почему образ мыслей «Современника» перестал нравиться Тургеневу?

Вопрос об идейном антагонизме между дворянской группой

«Современника», возглавлявшейся Тургеневым, и «семинаристской», возглавленной Чернышевским и Добролюбовым, разрешается обычно историками русской общественной мысли и литературы с точки зрения так называемого «столкновения двух поколений», людей 40-х и 60-х годов.

Такая постановка вопроса идет вразрез с марксистско-ленинской концепцией, которая усматривает здесь прежде всего отражение борьбы двух исторических тенденций, только что наметившихся в шестидесятые годы.

Впервые поводом для этого столкновения мнений послужила знаменитая диссертация Н. Г. Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности».

Известно, что эта диссертация закрыла для Чернышевского навсегда дорогу к университетской кафедре и вызвала среди представителей традиционной эстетической мысли небывалый переполох. Председательствовавший на диспуте профессор Плетнев по окончании прений сказал Чернышевскому: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это».

Эта диссертация, о которой более подробно скажем в дальнейшем, опрокинула все былые эстетические каноны и трактовки. Вот почему эта работа Чернышевского считается начальным пунктом литературного движения 60-х годов.

Писатели-дворяне бурно реагировали на это знаменательное выступление Чернышевского. Особенно неистовствовали Григорович, Дружинин и Толстой. Первым ушел из «Современника» Дружинин, заклятый враг новой реалистической эстетики и самый неугомонный представитель теории искусства для искусства. Дружинина усердно защищал Л. Н. Толстой, презрительно отзываясь о «клоповоняющем господине» (так дворянская группа прозвала Чернышевского). Тургенев после некоторой нерешительности тоже вовлечен был в эту вражду с Чернышевским. 1 июля 1855 года он пишет Дружинину и Григоровичу:

«Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю); примите мое раскаяние и клятву — отныне я буду преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами... Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую «Современник» не устыдился разбирать серьезно. Раса! Раса! Раса! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете».

Тургенев был в ту пору общепризнанным и прославленным писателем. Возглавив кампанию против Чернышевского, он придал ей тем самым

известную авторитетность. Ведь это был автор «Записок охотника», славу которого провозгласил еще Белинский. Да и сам Чернышевский писал Тургеневу: «В настоящее время русская литература, кроме вас и Некрасова, не имеет никого. Это каждый порядочный человек говорит. Смею вас уверить!»... Чернышевский всячески подчеркивает в этом письме огромное значение «Записок охотника» и то высокое положение, какое принадлежит в литературе Тургеневу. Он ему прямо пишет, что таких великих произведений никто из современников его не в состоянии написать.

Чернышевский доходит до того, что признается Тургеневу: «Кто поднимает оружие против автора «Записок охотника», «Муму», «Двух приятелей», «Постоялого двора» и д., и т. д., тот лично оскорбляет каждого порядочного человека в России». В этих рассказах Тургенева Чернышевский ценил, прежде всего, протест крупнейшего художника слова против крепостного права.

Принято считать конец 1856 и начало 1857 года периодом, когда крепки были симпатии Чернышевского к Тургеневу и к его художественному творчеству.

В 1858 году начинается некоторое охлаждение «Современника» к Тургеневу. Журнал все больше и больше вступает на путь решительной борьбы с либеральными иллюзиями в отношении царской «крестьянской реформы», и в начале января 1860 года происходит окончательный разрыв с Тургеневым, в связи со статьей Добролюбова о «Накануне» и анонимной статьей «Современника» (№ 6, 1867 г.), в которой осуждается «Рудин» как пасквиль на Бакунина. Так, в силу обострившейся борьбы «двух тенденций» исторического развития России, идеологи революционной демократии постепенно отходили от Тургенева, меняя первоначально высокую свою оценку его творчества на решительную критику его барской эстетики.

Уход Тургенева и возглавляемой им дворянской группы из «Современника», разумеется, только усилил позиции Чернышевского и Добролюбова. Они установили свою идейную гегемонию во всех отделах журнала. В частности широко открылись двери «Современника» для писателей-разночинцев, для их новой тематики — изображения быта крестьян и городской мелкой буржуазии. Причем это изображение проникнуто было новыми классовыми тенденциями, нашедшими свое теоретическое обоснование в статьях Чернышевского и Добролюбова, где провозглашение новых эстетических идей сопровождалось решительной критикой дворянских писателей, «писателей 40-х годов», в частности Тургенева.

Весьма важный момент в творческой биографии Помяловского — его отношение к Тургеневу-художнику. В этом вопросе он шел рука об руку с Чернышевским и Добролюбовым.

В своей творческой практике Помяловский средствами художника пытается реализовать эстетические идеи, выдвинутые Чернышевским, критиком и теоретиком искусства. На этом пути Помяловский, как и Чернышевский, является решительным противником теории и практики Тургеневской школы. Каковы же были эстетические воззрения Н. Г. Чернышевского и Н. Г. Помяловского?

4

Н. Г. Чернышевский рассматривал свою эстетическую теорию как часть общефилософского мировоззрения. Он говорил поэтому, что трудно устоять отдельной части общего философского здания, когда оно все перестраивается. И действительно, автор «Эстетических отношений искусства к действительности» и «Очерков гоголевского периода русской литературы» прежде всего исходит из тех общефилософских воззрений, которые легли в основу его «Антропологического принципа в философии». Интересно припомнить отзыв В. И. Ленина об этих философских основах мировоззрения Чернышевского. Ленин писал, что «...для Чернышевского, как и для всякого материалиста, законы Мышления имеют не только субъективное значение, т. е. законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходятся, а не различаются, с этими формами..... для Чернышевского, как и для всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется нам связью причины с действием, есть объективная причинность или необходимость природы..... Чернышевский называет метафизическим вздором всякие отступления от материализма и в сторону идеализма и в сторону агностицизма». Для Ленина «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88 — го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

Наилучшую формулировку философские взгляды Чернышевского нашли в его статьях «Антропологический взгляд на философию» и

«Полемические красоты». Основным философским принципом в этих статьях Чернышевский выдвигает идею об единстве человеческого организма, исключаящую всякий дуализм в виде самостоятельно существующих и противопоставляемых души и тела. По этому принципу человеческий организм изучается как многосложная химическая комбинация, находящаяся в многосложном химическом процессе, называемом жизнью.

Оттого Чернышевский сравнивает отношение физиологии к химии с отношением отечественной истории к всеобщей. Ибо физиология человеческого организма — только часть зоологической физиологии.

«Антропология, — говорит Чернышевский, — это такая наука, которая о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила, всюду помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом организме, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов обуславливается свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы».

Известно, что этот философский принцип впервые нашел свое выражение у немецкого мыслителя Людвиг Фейербаха, последователем которого и был Чернышевский. Нужно сказать, что идеи Фейербаха оказали уже влияние и на Белинского. И Чернышевский поэтому при всяком удобном случае открыто устанавливал свою преемственность от Фейербаха, а также и от Белинского. В предисловии к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевский называет имя Фейербаха, как идейного вдохновителя своей работы об искусстве, скромно считая себя «только истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике».

На самом деле роль Чернышевского в построении материалистической теории искусства была грандиозна. Он первый приступом пошел против основных положений идеалистической эстетики, испокон века строившейся на религиозном понимании идеи прекрасного, на истолковании роли искусства как выражения «абсолютного духа». Философски преодолев идею дуализма, Чернышевский естественно и в эстетике не мог мириться с божественной идеей абсолютного духа. Оттого мистическое «прекрасное» он перенес из надземных сфер «не от мира сего» в чувственный мир природы и человека, провозгласив, что прекрасное есть жизнь. Ибо, по Чернышевскому, человек смотрит на природу глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с

чем связано счастье, довольство человеческой жизни. Отсюда формула красоты: «Истинная высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством». Точно так же по-новому формулирует Чернышевский понятие «возвышенного», освобождая его от всякой идеи бесконечного, толкуя его исключительно как явление человеческой действительности, как стремление к более культурным формам индивидуальной и общественной жизни. В этом свете Чернышевский переоценивает и другие формулировки идеалистической эстетики, ее понимание таких начал, как «трагическое», «комическое» и др. Не «бесконечное», а «действительность» природы и человеческой жизни — вот основа искусства. Художник — не созерцатель «божественной истины», а страстный и активный боец за человеческое счастье. Он, воспроизводя действительность, объясняет её средствами художника, всей своей системой образов.

Оттого приговор о явлениях жизни — основная задача искусства. Художник не может быть нейтральным, показывая явления жизни. Они касаются и его интересов. Всякая поза холодного объективистского содержания в конце концов только маска, ибо художник прежде всего — человек со страстями, симпатиями и своими собственными интересами.

Эстетические взгляды Чернышевского уже много десятилетий стали основным элементом нашей материалистической теории искусств, кровью и плотью реалистической критики. Впечатление новизны этой теории давно уже миновало. Не то было, конечно, на заре 60-х годов. Для современников Чернышевского работа представляла собой широкую проповедь гуманизма, Целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Общий смысл эстетических взглядов Чернышевского воспринимался как властный призыв к художникам слова: говорить о живой жизни, широко отражать действительность, учить людей жить по-человечески, рисовать им картины благоустроенного общества и жизни хороших людей. Эстетическая теория Чернышевского стала ведущей теорией революционной демократий, стала основой для творческой практики выдвигавшихся новых писателей, для полемических платформ ее ведущих критиков.

Новый демократический читатель, сохраняя чисто эмоциональные отношения к блестящему мастерству корифеев дворянской литературы, наряду с этим искал в художественном творчестве отражения той общественной борьбы, которая кругом кипела. Он хотел видеть носителей, этой борьбы, ту демократическую фалангу разночинцев-плебеев, которая так шумно заговорила о своих правах и новых общественных отношениях.

Здесь он искал героя нового времени и был глубоко возмущен, что по-прежнему на авансцене художественной литературы действует только дворянин в качестве центральной фигуры.

Чернышевский и Добролюбов первые отметили эту замкнутость дворянской литературы, первые подняли на большую высоту проблему нового героя. Эта проблема обуславливалась общим идейным направлением наших великих критиков, их борьбой против либеральных Соглашателей, во имя революционной демократии. В таком свете эта проблема обсуждается Чернышевским в статье «Русский человек на rendez-vous» и Добролюбовым в статье «Что такое обломовщина».

Эти две статьи объединены одним общим выводом. Добролюбов и Чернышевский подводят черту под основными произведениями дворянской литературы XIX века, определяя тематическую общность и родство их главных героев.

Оба критика рассматривают Рудина как дворянского героя, в котором сконцентрированы главные тенденции дворянской литературы.

Скука и отвращение к «настоящему делу», столь свойственные Обломову, Добролюбов видит и в Онегине. и в Печорине, Бельтове и Рудине. Всех этих героев он называет «братцами обломовской семьи». Во они — продукты обломовщины с ее неизгладимую печатью бездельничества, дармоедства и совершенной их ненужности на свете.

Оттого для них не находится в жизни захватывающего дела, с которым они органически срослись бы и ради которого могли бы пожертвовать собою.

Их гуманизм, либерализм и оппозиционность — одни только слова, безответственные разглагольствования. За ними нет никакой решимости на дело. Подобно Рудину, они способны отвечать: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать? Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами».

В эпоху реакции красноречие Рудина может еще ввести кого-нибудь в обман. «Пока, — пишет Добролюбов, — не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим».

Чернышевский точно так же считает нерешительность Рудина, его упоение словами и неспособность к делу — общей чертой героев

дворянской литературы.

Призыв к делу пугает, по мнению Чернышевского этих героев. Особенно, когда речь идет об организованной борьбе за общественные идеалы. Тут обнаруживается пропасть между словами и делом и начинаются разговоры, что «нельзя хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали»...

Мы уже знаем, что 1860 год был решающим годом в этой борьбе руководителей «Современника» против традиционного дворянского героя. В результате этой борьбы Тургенев расстался навсегда с этим журналом. В этом году Помяловский писал свое «Мещанское счастье». Здесь он хотел в художественных образах трактовать новую «философию эпохи». Это привело Помяловского к постановке в своей первой повести тех основных проблем, которые выдвинуты были «Современником». Проблема нового человека легла в основу этого произведения Помяловского. Кроме того он подошел вплотную к критике тургеневских героев, в особенности Рудина: это стало лейтмотивом «Мещанского счастья»...

В БОРЬБЕ ЗА РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

«Не в талантах, не в их числе мы видим собственно прогресс русской литературы, а в их направлении, их манере писать».

В. Белинский

1

Современникам Чернышевского и Помяловского действительно приходилось вести споры не о талантах и не о числе их. В эти годы, 1855–1861, талантов появилось множество и самых настоящих. Стоит только назвать имена писателей, лучшие произведения которых относятся именно к этому времени. Вот они: С. Аксаков, Гоголь, Гончаров, Григорович, Даль, Достоевский, Дружинин, Искандер-Герцен, Крестовский (Хвощинская), Михайлов, Некрасов, Островский, Печерский, Писемский, Помяловский, Сухово-Кобылин, Толстой, Тургенев, Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др.

Среди этих талантливых писателей были люди различных направлений, но преобладали писатели-дворяне.

Вскрыть «рассейскую действительность» во всей мрачности ее рабовладельчества эти писатели не решались из боязни разжечь страсти, из боязни новой «пугачевщины».

Новый же читатель — разночинец, отлично знавший крестьянскую жизнь, не мог мириться с этой недоговоренностью. Он требовал настоящей правды без всяких прикрас, без всякого нарочито мягкого колорита. Между тем все повести о народе, писанные в то время Тургеневым, Григоровичем, Толстым, Писемским, Далем, сводились к тому, что надо помочь народу развить свои добрые чувства и простить ему пороки, навязанные жизнью.

Все это раздражало нового демократического читателя. Он требовал показа действительности в ее подлинном виде. Чернышевскому и Помяловскому пришлось стать выразителем этих новых литературных требований, этого протеста против барского прекраснотуши.

Теоретическое обоснование всего этого Чернышевский дал в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» («Современник», 1855 и 1856). Как критик он подошел к этому вопросу в своей статье о Николае Успенском «Не начало ли перемены?» («Современник», 1861).

В своих «Очерках гоголевского периода» Чернышевский задался целью восстановить «заветы Белинского». Ибо, по его мнению, в современной ему критике не нашлось людей, способных продолжать дело, начатое Белинским, впервые решившим вопрос об отношении литературы к обществу и его основным проблемам.

Чернышевский с большим сочувствием рисует борьбу Белинского за принципы натуральной школы, сравнивая эту борьбу с борьбой так называемого отрицательного направления, выразителем которого был «Современник».

Принципы же «отрицательного направления» ярко сформулировал Чернышевский в статье об Успенском. Здесь он дает анализ особенностей намечающейся но-вой литературной школы и ее направления. На этом пути Чернышевский подводит итоги литературной полосе, шедшей, по его выражению, под знаком гоголевского Акакия Акакиевича. Сторонники этой литературной традиции считали, что о таких забитых людях, как гоголевский герой, незачем говорить всю правду, — она может только, вследствие его убогости, уменьшить сострадание и не возбуждать симпатий к нему.

Писателям этим весь народ, т. е. крестьянство, представлялся каким-то Акакием Акакиевичем, который, мол, несчастен, кроток, безответен, безропотно переносит свои страдания и обиды. Именно таков — по Чернышевскому — характер повестей из народного быта Тургенева, Григоровича и их подражателей.

Рядом с этим Чернышевский отмечает стремление дворянской школы подвести крестьянство под один тип. Это особенно возмущает Чернышевского, ибо крестьянское общество, как и всякое другое, крайне противоречиво и многообразно. Вот почему он приветствует Успенского. Ибо, по мнению Чернышевского, Успенский со всеми этими традициями порвал. Если бы, полагает Чернышевский, эти рассказы Успенского были прослушаны его «сиволапыми» героями, то отзыв их был бы об авторе не как о каком-то добром и ласковом барине, а как о своем брате. Все эти наблюдения подсказывают Чернышевскому заключительные слова его статьи об Успенском, явившейся своего рода манифестом новой демократической литературы: «Говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете

его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе».

Таким образом, девизом новой литературной эпохи был объявлен строгий и правдивый реализм, свободный от всякой идеализации, и основной целью ее стало — познание подлинной действительности.

Такое понимание реализма было особенно близко Помяловскому. Недаром он говорил: «Надоело мне подчищенное человечество. Я хочу узнать жизнь во всех ее видах, хочу видеть наши общественные язвы, наш забытый, изможденный нуждою люд, на который никто и смотреть не хочет. У меня хватит присутствия духа, чтобы разглядеть без отвращения эти подонки человечества, нашего брата такими вещами не удивишь». На этом пути познания неприкрашенной действительности Помяловский ставил перед реалистической литературой революционной демократии широчайшие задачи.

Помяловскому принадлежит мысль о коллективной писательской работе по изучению народного быта. Скоро после того, как он стал печататься в «Современнике», он выдвигал такие планы. «Я, — говорил он, например, — возьму на свою долю петербургских нищих, буду изучать их быт, привычки, язык, побуждение к ремеслу и все это описывать в точных картинах; другой возьмет мелочные лавочки для таких изучений; третий — пожарную команду и т. д. Все добытые сведения будем помещать в особом, реальном журнале, устроенном на общих началах, и из этих сведений, — взятых целиком из жизни, впоследствии явится картина нашего петербургского быта».

В первом романе Помяловского, в «Мещанском счастье», картины петербургского быта лишь мимоходом намечены. Эти картины нашли свое воплощение лишь в «Молотове», «Брате и сестре», «Очерках бursы».

В «Мещанском счастье» пред нами еще обычный усадебный фон дворянской литературы тургеневской школы. Но подход Помяловского к этому традиционному фону и действующим здесь основным героям был отмечен всеми тенденциями революционно-демократического реализма в его борьбе против дворянской литературной гегемонии, против ведущих героев тургеневской школы, в частности против Рудина. Основные моменты этой борьбы в значительной мере определяют характер творчества Помяловского.

В 1860 году Помяловский сообщает своим близким и друзьям, что заканчивает большую повесть, в которой хочет изобразить отношения плебея к барству. На самом деле замысел Помяловского был более обширным. Уже здесь он пытается решить ряд эстетических задач, которыми он заинтересовался в статьях Добролюбова и Чернышевского. Над первым своим произведением Помяловский работал сравнительно долго и усердно, особенно стараясь исправить свой язык:

«Язык только у меня больно тяжелый — пишу точно бревнами ворочаю», — жаловался он.

Свое произведение он твердо решил предложить «Современнику»: «Мне «Современник» больше нравится, чем другие журналы, — объяснял свой выбор Помяловский, — в нем воду толкут мало, видно дело... Да и притом, говорят, там семинаристы пишут...»

Рукопись он отнес Панаеву, тогдашнему секретарю. Последний, однако, вместо обещанных двух недель долго тянул с ответом, что в конце концов рассердило Помяловского, и он потребовал возвращения рукописи. После долгих поисков оказалось, что рукопись находится у Некрасова. Первой встречей с Некрасовым Помяловский остался очень доволен. Повесть была принята, и автор получил приглашение постоянно сотрудничать в журнале.

А. М. Горький справедливо говорил о «Мещанском счастье» как о крупном художественной произведении, до сих пор имеющем важное значение в деле воспитания советского читателя.

Объяснить значение «Мещанского счастья» можно, только изучив всю совокупность решаемых в повести проблем, а также художественный метод, которым написано это произведение.

Проблема нового человека — краеугольный камень «Мещанского счастья». Здесь впервые в русской литературе рассказано о плебее-разночинце, сыне столичного слесаря Егоре Ивановиче Молотове, ставшем мыслящим пролетарием. Эта новая по тому времени литературная биография — стержень всего повествования. Однако не случайно фон «Мещанского счастья» — старая барская усадьба, столь знакомая по произведениям Тургенева, особенно по «Рудину». Недаром и в «Мещанском счастье» и в «Рудине» одинаковый фабульный стержень — приезд в помещичье имение из столицы представителя умственного труда. И в «Рудине» и в «Мещанском счастье» в центре — романическое приключение гостя, его любовная драма (Рудин — Наталия, Молотов — Леночка).

«Мещанское счастье» так же, как и другое произведение Помяловского

— «Молотов», это — открытая ревизия тургеневского творчества («Мещанское счастье» — «Рудин»; «Молотов» — «Дворянское гнездо»), ревизия всей дворянской литературной школы. Вообще история литературы знает немало подобных случаев ревизии «уходящих» художников представителями новой литературной эпохи; стоит только вспомнить о пародировании средневековых романов в «Дон Кихоте» Сервантеса, а в русской литературе рассказ Чехова «Егерь», ревизующий тургеневское «Свидание».

Помяловский весьма искусно проделывает это в своих первых романах.

«Рудин» начинается с описания «небольшой деревеньки» Дарьи Михайловны Ласунской, с изображения имения, утопающего в липовых аллеях, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, описывает парк, где много беседок из акаций и сирени.

Помяловский свое «Мещанское счастье» начинает не с пейзажа, а с размышлений Егора Ивановича Молотова о помещичьем имении Обросимовых и его липовых аллеях. Причем эти «липы» с первых строк предназначены, так сказать, для полемической цели, для плебейского ропота.

«Егор Иванович Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Ивановичу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «а где же те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда».

У Тургенева пейзаж служит введением к подробному описанию тогдашних «хозяев жизни», помещиков — владельцев липовых садов. Рудин же дан как явление быстро исчезающее, как отщепенец. Совсем иначе обстоит дело с Молотовым. В свете его жизненного пути владельцы липовых аллей теряют всякое право на социальную гегемонию.

Интересно сравнить основные моменты дворянской биографии Рудина и плебейской биографии Егора Ивановича Молотова.

Рудин происходит из семьи бедных помещиков, рано лишается отца, получает свое воспитание в Москве, сперва за счет какого-то дяди, а потом, когда он под' рос и оперился, за счет одного богатого князька, с которым «снюхался», затем учится в университете.

Егор Иванович Молотов тоже рано лишается отца-слесаря, воспитывается в чужом доме профессора, учится в университете. Таким образом, биографию Молотова Помяловский строит по основным вехам

жизнеописания Рудина, пронизывая ее «плебейским содержанием».

«Детская жизнь Егора Ивановича совершалась в грязи и бедности, а вот и теперь вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка был мальчик бойкий. Подпилки, клещи, бурова, отвертки, обрезки железа и меди заменяли ему дома игрушки».

Этому трудовому началу в воспитании ребенка, оставляющему в человеке радостное воспоминаний о тяжелом детстве, Помяловский, как художник-педагог, посвящает проникновенные страницы.

Рудину же нечем вспомнить свое бездеятельное детство, окруженное комфортом и полным довольством.

Взаимоотношения между отцом и сыном Молотовыми — товарищеские. Егорушка рано стал помощником отцу: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить и пьяного отца разденет, спать уложит. А отец был обыкновенный безграмотный слесарь; знал он свое ремесло, несколько молитв на память и без смысла, много песен и много сказок; работу он любил и часто говаривал: «Бог труды любит, Егорка; кто трудится, свое ест».

Таково нравственное начало, которое слесарь передает своему сыну.

Егорушка по смерти отца попадает к «странному старику», профессору Василию Ивановичу, у которого го слесарь работал. Это воспитание у профессора дает возможность Помяловскому сделать из Егорушки «мыслящего пролетария».

Егорушка принес с собою из грязной каморки отца дикие понятия о боге, людях, жизни и природе, он был неотесан, грубоват. Профессору Василию Ивановичу приходилось «выдавливать» из сознания мальчика все эти представления темной и невежественной среды.

Тут Помяловский подходит к весьма сложному процессу приобщения разночинца к культуре.

В своем письме к Суворину Чехов писал: «То, что дворянам давалось легко, по наследству, разночинцу давалось упорным и медленным трудом».

В таком свете изображается Помяловским Егорушка. «Нравственная работа принесла Молотову пользу», — говорит автор о своем герое. Он научился не верить старине и авторитету, и тому, что нами в молодости принимается на веру, — вот так, как он принимал на слово, что Илья гремит на небе. Все он стал «переваривать» собственной головой, привык к самостоятельности, к умению отрешиться от ложных взглядов. Развиваясь, он впоследствии отбрасывал многие убеждения, воспитанные в нем стариком профессором.

Так Помяловский, рисуя среду Молотова, показывает, что человек,

несмотря на дикость и невежество этой среды, обладает способностью к развитию в салу трудовой ее основы.

Вопросы мирозерцания уже очень рано занимают Молотова. «Молотов, — читаем мы о его юношеском периоде, — любил говорить о широких началах, общемировых идеях и замогильных вопросах: жизнь, природа, человечество — на этих предметах постоянно вертелись его мысли».

Молотов оптимист: ему «прекрасными людьми представлялись товарищи по университету — бодрые, смелые, честные, за общее дело готовые на все жертвы, оригиналы».

Противоположность Молотова Рудину сказывается еще в том, что и в помещицьем имении Молотов, живет не в качестве разъездной «гениальной натуры», а как «мыслящий пролетарий», как нуждающийся в заработке домашний секретарь и учитель.

В качестве такового Молотов и попадает в типичную тургеневскую усадьбу с золотисто-темными липовыми аллеями.

Не случайно Помяловский вместо пейзажа начинает свою повесть с биографии героя. Нужно помнить, какую роль пейзажу придает Тургенев. У Тургенева пейзаж служит как бы живописной иллюстрацией к тем сентенциям из Новалиса, Гофмана, писем Беттины и др., которые так часты в устах Рудина.

Помяловский беспощадно разрушает барское эстетическое отношение к природе. Точный, свободный от всяких романтических эпитетов, пейзаж Помяловского преследует всегда чисто материалистическую задачу — показ единства человека и природы. Тургенев пассивно относится к таинственным шепотам, окружающим загадочные явления природы. Помяловский всегда вмешивается в ход повествования, чтобы рассеять всякое мистическое представление о природе.

В «Мещанском счастье» характерна сцена, изображающая разговор баб о некрещеных детях, закопанных на лужайке.

Молотов расспрашивает проходящих баб — чьи могилы на небольшой лужайке, и одна из баб, подняв глаза к небу, фантазирует: «Известно, некрещеное дитя да померло — это все одно, что дерево... Где ни закопай, все равно... В нем и духу нет... Это уже такой человек... без духу он родится... пар в нем... этаконького и не окрестишь, так и помрет... Бог не попустит. Нет...».

Автор сопровождает следующими словами рассуждение бабы, которую называет бабой-поэтом, бабой-мистиком, весьма склонной к созданию мифов в природе: «И очень может быть, что этот миф переползет

и в другие семьи, к соседям и знакомым, и через тридцать-сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасаает предрассудки, они еще и ныне создаются, и удивительно то чувство, с которым простолюдин относится к природе: оно непосредственно и создает миф мгновенно»...

Во всех пейзажах Помяловского единство человека и природы выступает на первый план.

У Тургенева пейзаж всегда несколько изнеженный, лениво-дремотный. Вот у раскрытого окна Рудин созерцает летнюю ночь: «Душистая мгла лежала мягкой пеленой над садом; дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась, и нежила. Рудин поглядел в темный садик и обернулся».

Тут важно подчеркнуть характер эпитетов: «душистый», «мягкий», «дремотный», «нежный». В этих эпитетах много обломовского в понимании Добролюбова.

«Унылых призраков», «злых стариков» и «мягкой пелены» нет в пейзаже Помяловского. Последователь Фейербаха и соратник Чернышевского, Помяловский воспринимает природу сквозь юное, полнокровное мироощущение: «И вот Молотов, сын столицы, который родился и вырос в ней, который жил в огромных каменных домах, никогда не видал деревни, не видал весны во всем цвете и прелести, не знал семейной жизни, — он теперь в деревне среди приволжской природы, в доброй семье. Поле, река, лес, деревенский воздух, полная свобода — все это давало Молотову еще не испытанные им впечатления».

У Помяловского картины природы, столь щедро нарисованные в «Мещанском счастье», насыщены глубокой эмоциональностью художника-оптимиста, выразителя мироощущения революционной демократии. Вот Молотов переживает на лоне природы майскую погоду, и это несколько не заставляет его, как Рудина, вспоминать о прошлом. Наоборот, он весь наполнен ощущением радостного настоящего: Все это ритмическое описание наполнено ощущением счастья: «Цветут весенние звезды, темноглубые и темносиние ночи и первые зори... Все это наше.... Будем гулять охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сеннике... Вот и отжил день; он уже никогда не повторится в жизни; не те будут цветы и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? — Хорошо? Ну, и пусть его хорошо».

Тургеневский пейзаж чаще всего — грустная элегия. Пейзаж у Помяловского обычно вызывает бодрое ощущение деятельности как основного источника жизни.

В этом крепком плебее-демократе природа, конечно, не вызывает никаких элегических реминисценций; ой не преклоняется пред величием природы согласно философии Шеллинга. Больше того, наслаждаясь в помещичьем саду солнцем, пеньем птиц и дивными фруктами, Молотов не испытывает романтического восторга, он во власти раздумья. «Так неподвижно иногда висит ветка в воздухе, так ребенок задумчиво смотрит на огонь, так пруд стоит, не колыхнется, при вечернем освещении солнца... Мысль его замерла, ушла в глубь души».

Мы видим, как Молотов в своем восприятии природы далек от героев дворянской литературы, в частности от Рудина. В то время как всем дворянским героям, говоря словами Добролюбова, грустно от жизни и природы, Молотов наделен непосредственным и здоровым оптимизмом, ибо он человек с новой биографией, его характер формируется в среде, построенной исключительно на трудовых началах.

В своей монографии о Н. Г. Чернышевском Г. В. Плеханов уделяет много места излюбленной идее Николая Гавриловича о человеке как продукте окружающей среды, ее привычек и обстоятельств. По мнению Плеханова, Чернышевский выработал эти свои взгляды не только под влиянием Фейербаха, но и современных ему западно-европейских социалистов, особенно Роберта Оуэна, автора исследования о формировании человеческого характера. По мысли Оуэна, злые поступки людей составляют не вину их, а беду. В «Мещанском счастье» эта проблема формирования характера под влиянием общественной среды занимает большое место. Молотов представлен в основных стадиях своего развития. Первая стадия отмечена, как мы уже видели, его непосредственным оптимизмом, обусловленным детством, воспитанием у профессора, университетской средой т. д.

Оптимистическое мироощущение Молотова сопровождается его настойчивой любознательностью и жаждой деятельности. Вначале все это протекает, так сказать, стихийно и не освещено отчетливой идеей.

Но, рисуя стихийную активность Молотова, Помяловский все время подсказывает читателю, что это стадия временная; стихийность должна уступить место ясно осознанной идее, определенной общественной цели. Молотову двадцать два года, и, по его словам, он все еще успеет. Но вот жизнь сталкивает его, плебея-демократа, с барской семьей Обросимова, аристократа-либерала. Добродушный и любвеобильный Молотов предан помещичьей семье, дарит ей свои симпатии. С другой стороны, его захватывает «роман кисейной барышни». Развертывая этот роман,

Помяловский совершенно сознательно подчеркивает пассивность своего героя.

«Характер Леночки несколько определился, а Молотов до сих пор стоит какой-то молчаливой фигурой». Мы до сих пор видели только, как он работает. Чем-то он окажется? В отличие от тенденций дворянской литературы, показывавшей уже сложившихся героев, Помяловский на глазах своего читателя намечает путь развития Молотова. Сталкивая своего героя с различной общественной средой, писатель заставляет его самоопределиваться, найти твердую классовую позицию. На этом пути Молотов и перестает быть «какой-то молчаливой фигурой». Он находит соответствующую идею о социальном антагонизме, разделяющем современное ему общество. Симпатии свои к Обросимовым он начинает понимать как идеалистическую маниловщину. В каком же направлении совершается этот процесс классового самоопределения?

С легкой руки Д. И. Писарева принято считать «Мещанское счастье» романом кисейной барышни (название статьи Писарева), то есть принято видеть сюжетную основу этого произведения в любовных приключениях Леночки и Молотова. Этим объясняется и та «всероссийская популярность», какую получило выражение «кисейная барышня». На самом деле основной сюжет «Мещанского счастья», — это восстание плебея против аристократа. Помяловский с самого начала повествования подготавливает нас к мысли о неизбежности этого классового антагонизма, прежде всего своими социально-публицистическими рассуждениями, из коих каждое оправдывается всем ходом повествования. Взять хотя бы авторское рассуждение о «принципе национальной независимости» и об «экономических чисто кровных русских началах», иллюстрирующих интеллигентного пролетария в чужой семье. В силу этого принципа хозяин почти всегда «ломается над наемником, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком». И во всех «сферах русского труда» подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. В силу «экономических чисто кровных русских начал» отношение к труду весьма презрительное. Ибо свободным может быть только тот, кто ничего не делает; независимым, кто нанимает чужой труд. И, наоборот, если человек трудится, значит — он раб; работает, стало быть ест чужой хлеб.

С тонким юмором Помяловский разоблачает эту крепостническую мораль, эту идеологию «крещеной собственности». Он воспроизводит своеобразный фольклор этого рабовладельчества. «Не труд нас кормит, — начальство и место кормят; дающий работу — благодетель, работающий —

благодетельствуемый; наши начальники — кормильцы. У нас самое слово «работа» от слова «раб».

Так испокон века были идеологически оправданы презрение к труду, как к признаку зависимости, и праздность стала высокой ступенью человеческого достоинства и авторитета.

Эта «мораль» и «идеология» постепенно обнаруживается во взаимоотношениях Обросимова и Молотова. Внешне Обросимов относится к Молотову почти как к равному: ласково, добродушно, он с благодарностью принимает от него всякую услугу, советуется всегда с своим секретарем, посвящая его в свои интересы. Молотова все это привязывает к семье либерала.

Казалось бы, что и поэтическая обстановка, столь благотворно действующая на Молотова, и работа, столь занимающая Егора Ивановича, и деликатность хозяев — все это должно было породить гармонию во взаимоотношениях между Обросимовым и Молотовым.

Вопрос о молотовском оптимизме в отношении Обросимовых Помяловский разрешает весьма сложно. Он сознательно выбирает не отпетого крепостника, а «прогрессиста». Обросимов — образованный человек, прекрасный хозяин, европеец, крестьянам живется у него сравнительно хорошо. В его имении наказывать женщин считается варварством. Однако «восстание» плебея против аристократа неминуемо.

Молотов убеждается, что гуманизм его господ — только внешний, на самом деле маскирующий те же классовые корни. Однажды с саду Молотов невольно слышит интимную беседу четы Обросимовых о своем секретаре, в которой восхваление «умнейшего молодого человека» перемешано с барским фырканьем, что в разночинце все же нет «этого дворянского гонору... манер нет». Жена Обросимова высказывает мысль, что разночинцы — «все-таки народ чернорабочий, и все как-будто подачки ждут...» Сам Обросимов характеризует разночинцев как удивительно дельный и умный народ; таков и Молотов: «выглядит такой невинной девушкой, а сам все видит, ничего не уйдет от его глаз. Вначале я говорил ему, чтобы он не очень хлопотал, — деликатность этого требует, а он точно не понял в чем дело. Правда, займется день-другой, третий разгуливает. Я ему стороной стал намекать, что не худо бы вот эту или эту статью поскорее кончать — догадался, наконец, и сел поплотнее... Или, думаю, зачем он на фабрику так часто ходит? Что же? Я, говорит, займусь на фабрике с годик, так и сам, пожалуй, управлюсь с ней...»

Тут нужно заметить, что образ барина-либерала Обросимова в основных своих социально-политических тенденциях сходен с образом

тургеневского Сипягина из «Нови», написанной в 1876 году. Молотов предшествовал тургеневскому Базарову, с которым, кстати сказать, его роднит плебейский антагонизм в отношении бар-аристократов. Этот момент, чрезвычайно, конечно, важен для правильного разрешения проблемы «Тургенев — Помяловский».

Тут уместно будет напомнить об одной литературно-критической полемике, которая велась в 60-х годах между «Современником» и критиком «Отечественных записок» Incognito (псевдоним Е. Зарина).

Этот критик объявил «Мещанское счастье» подражанием «Отцам и Детям». Осмеивая «Современник» и «Русское слово» за их высокую оценку этой повести Помяловского, Incognito писал:

«Но хороши, можно сказать, критики, которые г. ту самую пору, как отвергли г. Тургенева, приняли его копировщика, и до сих пор не догадались еще, что откуда идет. Хороши знатоки и ценители всяких общественных положений, с их исключительными интересами и взаимными контрастами, с сословными предрассудками и неприязнями, хороши они и глубока их проницательность, если в начетчике и копировщике г. Тургенева они увидели не то что остроту и богатство наблюдательности, а еще и высокую житейскую мудрость, а между тем в самом г. Тургеневе перестали уважать даже хороший слог. Хороши они теперь, когда в противоположность «всей старой дребедени» рекомендуют обращаться к сочинениям Помяловского как к обильному источнику «оригинального и освежающего чтения». Но особенно хорошо было бы их положение, если бы это открытие наше о коренном источнике и этого «оригинального чтения» и всей «житейской мудрости» Помяловского мы позволили бы перепечатать, бесплатно, во всех газетах («Отечественные записки» 1865, март, стр. 525–542).

Нельзя отказать этому критику «Отечественных записок» в бойкости изложения и в полемическом задоре. Однако всех этих способностей хватило у него только для того, чтобы опошлить такую важную и интересную тему, как «Тургенев и Помяловский», свести «Мещанское счастье» к простому «копированию» и подражанию эстетике «Отцов и детей» (которых не было еще, кстати сказать, при появлении первых двух романов Помяловского).

Между тем конкретная разработка этой темы, хотя бы в направлении намеченной нами параллели между «Мещанским счастьем» и «Рудиным», показывает здесь совершенное отсутствие всякого копирования.

Разве в изображении биографии Молотова — в этом стержне повести, — а также в воспроизведении фона петербургской окраины Помяловский

не новатор?

Или взять хотя бы Обросимова. Как тонко этот барин маскирует свою ненависть к «свистунам», то есть к революционным демократам! С одной стороны, Обросимов недоволен, что «массы коснеют в неисходном невежестве, что только дворяне и изредка поповичи да дети чиновников получают сносное образование». По его мнению, «нам не пять, а двадцать надобно университетов».

Но при этом Обросимов исходит из того, что «запросу на ученых много, а продукта этого мало, оттого он и дорог. Посмотрите, — говорит он, — в других государствах, — в Германии, например, Геттингенского университета кандидат сапоги шьет. Там на самое последнее место является множество ученых претендентов. Скажите же эти простые истины нашим помещикам, — куда тебе, либерал, вольтерьянец».

В этом «монолог» Помяловским удивительно тонко раскрывается куцый буржуазный эмпиризм Обросимова, этот «принцип просвещенного человека», то есть либерализм капитализирующегося дворянства.

Раскрывая этот тип через восприятие разночинца-плебея, Помяловский разоблачает этого либерального помещика не методом гневной сатиры Щедрина, а тонким сарказмом. Осмеивая принципы «передового человека», он в то же время делает неизбежным и нарастание плебейского антагонизма Молотова и его освобождение от всякой маниловщины в отношении либеральствующих Обросимовых. Здесь нет подражания приемам Тургенева, это злое их пародирование.

Еще больше сказывается это в образе Молотова как антипода Рудина. Молотов один из лучших выразителей плебейского протеста против «белой кости».

Плебей Молотов менее теоретичен, зато он непосредственнее и эмоциональнее. Какое, например, действие производит на него упомянутый уже разговор Обросимовых; в каждой черте его лица, в складке губ, в глазах, повороте головы этот разговор порождает глубокое, беспощадное презрение; «в нем злость заходила, драться ему захотелось... В грубые и крупные слова одевалась мысль его... — Белая порода... Чем же мы, люди черной породы, хуже вас. Мы мещане, плебеи, дворянского гонору у нас нет? У нас есть свой гонор»...

Но вслед за тем эмоциональный протест переходит в сознательный. Молотов обобщает случай с Обросимовым как явление классовой борьбы. Он говорит, что «есть факты, в которых выражается идея, присущая многим фактам», что «Обросимовы оттолкнули его под влиянием общественного закона».

«Это не наши, — заключает он, — как же я не раз глядел ваши рожи»... Все окружающее беспокоит его, дразнит, поднимает все силы. В свете охватившей героя новой идеи Помяловский заставляет его переоценивать все духовные ценности враждебного класса. И прежде всего — литературу.

Любопытен в этом смысле следующий отрывок: «Егор Иванович раскрыл книгу... Лицо его покрылось легкой бледностью и руки задрожали... Он прочитал: «Несчастье мужиков ничего не значит против несчастья людей, которых преследует судьба». Он судорожно скомкал книгу, бросил ее на пол и захохотал. Что-то дикое было в его фигуре; странно видеть молодое лицо, искаженное злобой, — неприятно. Он в эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэт не отвечает за своих героев, что бы они ни говорили. «Несчастье мужиков ничего не значит. Их судьба не преследует», — говорит он, — это г. Арбенин сказал... большой барин и большой негодяй... черти, черти... шептал он».

Пробуждающееся классовое сознание и чувство собственного достоинства плебея, — вот что составляет основной сюжет «Мещанского счастья». Этот основной сюжет, разумеется, исключает всякую «покорность» героя и пассивность перед всевластной средой, их заменяет воля и действие, воля к созданию новых общественных форм. «Мещанское счастье» посвящено возникновению и оформлению идеи социального антагонизма.

Таким образом, «Мещанское счастье» намечает тип плебея, осознавшего свою общественную задачу и громогласно заявляющего о своих правах, о своем презрении к вековым узурпаторам. Этот тип, впервые выведенный Помяловским как своего рода анти-Рудин, получил значение героя времени, предтечи целого ряда аналогичных типов Тургенева (Базаров), Гончарова (Марк Волохов), Слепцова (Рязанцев), Чернышевского и др.

Молотов отличен и от Рудина и даже от Базарова отсутствием в нем выдающегося, героического, необычайного. Молотов свободен от всякой позы и театральщины, чего так много не только в Рудине, но и в Базарове.

Помяловский стремился прежде всего дать новую биографию плебея в ее развитии, во всей ее полноте, во всех ее противоречиях. Тургенев в силу высокого традиционного стиля вынужден обрывать не только повествование, но и жизнь своих героев. Они являются готовыми характерами, законченным выражением того или иного общественного явления и, сыграв эту роль, умирают (Рудин, Базаров).

Помяловский, как художник только что пришедшего на арену общественной жизни нового социального слоя, прибегает к иному приему. Он дает становление своего героя, борьбу его за свое место в общественном строе.

Барин Тургенев в изображении своего героя совершенно игнорирует чисто плебейский вопрос, который еще Санчо-Панчо задает Дон-Кихоту. «На какие деньги изволят странствовать благородные рыцари?» Разночинец Базаров учится, имеет научные интересы, гостит в дворянских усадьбах.

Но на какие деньги изволят странствовать воинственные разночинцы? В романс Помяловского — это центральный вопрос. Уже в «Мещанском счастье» проблема независимости разночинца, проблема работы встает на первое место. Отсюда проблема чиновничества — одна из самых важных проблем разночинства — намечена и в «Мещанском счастье», (более подробно разработана в следующем произведении Помяловского — «Молотове»).

Основная идея «Мещанского счастья» — развитие «плебея» — может совершиться только через разрушение дворянской гегемонии. Олицетворением этой идеи и является Молотов. В творчестве Помяловского выражена та идея, в силу которой — по характеристике Ленина — развитие России могло совершиться только в борьбе со всяким либеральным соглашательством.

В «Мещанском счастье» впервые нашла свое художественное выражение идея неизбежности этой борьбы. Отныне Помяловский решительно изгнал дворянина из литературы. И его любимой темой стала тема о «детстве без лип». Он первый ввел в литературу семейную хронику людей не только без всякой генеалогии, но не имеющих даже собственной фамилии.

Помяловский ломает основные законы тургеневского стиля. Его творчество, это — разрушение «барской эстетики».

Он смело опрокидывает добрые традиции объективного повествования, на каждом шагу он вмешивается в повествование, едко полемизирует с теми или иными литературными утверждениями, желчно изобличает не угодные ему общественные порядки, непринужденно ведет беседу с читателем по коренным вопросам мирозерцания. Все это делается страстно, сопровождается гневом, иронией, лирическими признаниями. Изобличительными речами автор пронизывает все страницы своих произведений, делая это основным свойством своего стиля. Если бы собрать и систематизировать все эти публицистические отступления, так щедро рассыпанные хотя бы в «Мещанском счастье», то мы имели бы не

только представление о системе образов Помяловского, но и о его замечательной силе воинственного публициста-демократа. Публицистика у Помяловского неотрывна от всей художественной ткани его произведений. Она вводит как бы дополнительно самого замечательного и ценного героя этих произведений... Н. Г. Помяловского, образ которого согревает его проникновенные страницы.

С точки зрения дворянской эстетики самой большой литературной ересью явилась трактовка Помяловским столь высокой тургеневской темы о девушке и ее первой любви. В чем же заключалась эта ересь?

Нужно сказать, что из всех персонажей Помяловского Леночке больше всего повезло в критике. Мы имеем в виду знаменитую статью Д. И. Писарева, в которой образ Леночки получил свою великолепную интерпретацию. Помяловский, по мнению Писарева, откровенно любит Леночку, как превосходным произведением природы. Но любит он ее не как Тургенев Асю, из которой сделано какое-то особенное, странное и оригинальное «и кажется полуфантастическое существо». Помяловский избрал героиню «второго плана», изображаемую обычно художниками как контраст с высокими натурами. Леночка — родственна пушкинской Ольге.

Это — совершенно обыкновенная девушка, от которой и в будущем ничего нельзя ожидать, кроме «дюжины толстомордых ребят». И вот Помяловский со всей чуткостью и подлинной гуманностью подходит к Леночке, рассуждая так:

«Этот молодой организм ищет и просит себе любви, счастья, наслаждения, того, что для него необходимо, как теплота, свет, воздух и сырость необходимы для растения». «Неужели я буду осуждать кисейную девушку за то, что она не умеет и не может быть счастлива по-моему? Я горячо сочувствую ее радости, ее горю, ее тревоге и ее томлениям не потому, что я сам способен таким образом и по таким же причинам радоваться, горевать, тревожиться и томиться, а потому, что в ней-то, именно в ней, все эти ощущения совершенно естественны, неизбежны и неподдельны».

Это отношение Помяловского к Леночке приводит в восторг Писарева: «Я, — пишет он по этому поводу, — до сих пор не встречал писателя, у которого было бы так много самородной гуманности, как у Помяловского». В силу этой гуманности Помяловский подходит ко многим не замеченным обычно явлениям, «с неутомимой, пантеистической любовью, останавливая на них свой кроткий, задумчивый, безгранично-нежный и, несмотря на то, глубоко умный взор». Писарева возмущают вопли разных журнальных

кликуш, обвиняющих Помяловского в резкости и грубости. Он применяет к Помяловскому известные слова Берне о Байроне: «Его сердце было окружено сплошной стеной твердых и острых колючек damit das Vieh nicht daran nage.» (чтобы его не глодала скотина).

В критике обычно проводится параллель между Леночкой и Надей Дороговой («Молотов»). Несомненно, последняя представляет собою более сложную фигуру 60-х годов. Но и Леночка, как тип, значительна своей художественной новизной. Здесь опять-таки весьма важно сравнить эту героиню «Мещанского счастья» с знаменитыми героинями Тургенева, хотя бы с Натальей Ласунской из «Рудина». Образ Леночки противопоставлен Наталье Ласунской и Асе так же, как Молотов — Рудину. Иными словами, Помяловский и отличается своим крепким материализмом и революционно-демократическим реализмом.

Припомним главу из «Рудина», посвященную появлению Натальи. С необычайной торжественностью начинается описание характера, внешности героини, причем Тургенев основное внимание уделяет «внутреннему миру» Натальи и ее духовным интересам, так как Наталья «с первого взгляда могла не понравиться».

Тургенев выделяет те черты лица, которые связаны с высокой интеллектуальностью героини. «Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посередине бровями, Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально — точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице ее выражалась тогда внутренняя работа мысли... Едва заметная улыбка появится вдруг на губах — и скроется; большие, темные глаза тихо подымутся...» Большой портрет Натальи дается художником через историю развития ее духовных интересов. Все это нужно Тургеневу для развертывания первой встречи с Рудиным на террасе.

Совершенно противоположный характер носит появление Леночки. Одной-другой строкой, как бы мимоходом, описывается балкон усадьбы, где сидят Егор Иванович Молотов и Елена Ильинишна Илличова — «молодой человек и молоденькая, хорошенькая девушка — значит повесть начинается».

Вся торжественная часть, сопутствующая началу беседы тургеневских героев, — совершенно устранена у Помяловского.

Рудину приходится затратить много усилий на завязку беседы. Между тем, у Помяловского беседу непринужденно начинает Леночка, кстати сказать, как и Рудин, о поэзии. Причем для Рудина «поэзия — язык богов»

«Я сам люблю стихи, — говорит он, — но не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас... Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет красотой и жизнью; а где красота и жизнь — там и поэзия». Первое же слово Леночки: «Какая поэзия! Прелесть!» — относится к «шлепающему огромному стаду гусей и уток».

В отличие от Рудина, столь охотого к беседам с дамами, Молотов «не мастер поддерживать дамский вздор и дребедень», а потому в «обществе держался ближе к мужчинам и пожилым дамам». Зато Леночка быстро овладевает разговором, с удивительной легкостью переходя с предмета на предмет. «Рассказала, как тонула однажды; что у них новый дьячок, про козу свою рассказала, от козы перешла к дяде, к няне, к подругам, после этого ей ничего не стоило заговорить о цветах, о новом платье, а через несколько минут она говорила, что терпеть не может пауков и тараканов, что она любит толстые пенки на сливках, клубнику и запах резеды. — Я веселая... — сказала простодушно Леночка и при этом ударила в ладошки».

В противовес Наталье Леночка мало разбирается в прочитанном. Недаром Лизавета Аркадьевна считает, что основная черта девушек, подобных Леночке, — «поразительная жалкая пустота. — Читали они Марлинского, — пожалуй и Пушкина читали; поют «всех цветочков боле розу я любил», да «стонет сизый голубочек», вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит глубоких следов, потому что они неспособны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были глупы... непременно с родимым пятнышком на плече или на шейке... легкие, бойкие девушки, любят сентиментальничать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных, кисейных созданий».

Помяловский не только ввел в литературу эту «кисейную» героиню, но показал, какие бывают у кисейной девушки великолепные взрывы чистого и могучего чувства, которые хоть на минуту поднимают ее неизмеримо выше мелкой и копеечной пошлости ее будничной жизни.

Тургенев бережно и медленно дает созреть чувству Натальи. Он улавливает каждый шорох ее созревающей любви.

«Пока — одна голова у ней кипела... Но молодая головка недолго кипит одна. Какие сладкие мгновенья переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетевского Фауста, Гофмана или письма Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным... Со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее,

потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

Вся эта тургеневская кантата любви совершенно исчезает у Помяловского. Неожиданно для себя Молотов получает анонимное письмо: «Егор Иванович. У вас есть чувства и вы завтра в 6 часов вечера придете на реку к мельнице вечером и здесь встретите даму; если любите, узнаете ее, и если нет, я останусь по гроб верная вам и любящая».

Так завязывается интимно-комический стиль приволжской любви. А вот описание заветного «первого свидания» у Тургенева и Помяловского. У Тургенева это событие в центре мировой жизни. Вся природа торжествует по этому поводу. Сцена свидания Молотова с Леночкой окружена рядом комических моментов.

Снижение «высокого тона» тургеневской кантаты любви распространяется и на «объяснение» между Молотовым и Леночкой на этом свидании, когда оба партнера не знают «с чего начать». Помяловский из этого свидания устраняет все трагедийное («холодные, как лед, руки», «бьющееся сердце» и т. д.). После некоторой неловкости Леночка стала, как бабочка, порхать с предмета на предмет. «Леночка болтала, прыгала, как козочка, а право она была премиленькая козочка — гибкая, стройная, черноглазая». Стиль Леночки оказывается жизненнее, нежели воображаемая Молотовым «высокая серьезная любовь».

Для любви Натальи нужны были все образы немецкого романтизма. Леночка же, написав свое письмо, сделала это «спроста, по-птичьи». И, ставя вопрос о любви Леночки, автор так ее объясняет:

«Письмо ее было одной из тех эксцентрических выходок, на которые способны иногда наши деревенские барышни и обитательницы Песков, Коломны, Петербургской стороны и других поэтических мест. Они не сробеют, напишут; хотя не думаем, что они по нравственности ниже тех, которые сробеют и не напишут. После они иногда и каются, но уже дело сделано».

Помяловский не только делает Леночку основной героиней романа, воспевая ее наивное чувство, ее простодушную решимость проводить это чувство в жизнь. Больше того, наряду с ней он демонстративно изображает породистых и изящных красавиц из галереи тургеневских героинь. Такова Лизавета Аркадьевна, дочь помещика Обросимова, красавица, образованная, поборница женской эмансипации. А вместе с тем какой жалкой кажется эта героиня в сравнении с непосредственностью Леночки, какой иронией дышит изложение «передовых» взглядов (жоржзандизма) Лизаветы Аркадьевны.

Художник революционной демократии упорно ищет себе других героинь, еще нигде не воспетых. В их простых чувствах он находит подлинную поэзию. У них он находит и задатки твердого характера. Тургеневская Наталья покоряется судьбе. Леночка борется. Недаром в своей авторской ремарке о свидании Молотова с Леночкой Помяловский подчеркивает превосходство Леночки над Молотовым: «Характер Леночки определился, а Молотов до сих пор стоит какой то молчаливой фигурой». Превосходство героини над героем — это, между прочим, литературный канон 60х годов. Тут интересно вспомнить очень характерные слова Н. Г. Чернышевского: «Женщина должна быть равна мужчине. Но когда палка была долго искривлена в одну сторону, то, чтобы выпрямиться, должно много перегнуть ее в другую сторону. Временный перевес необходим для будущего равенства». Этот принцип Чернышевского воплощен Помяловским впервые в романе кисейной барышни. Еще больше он разовьет это положение Чернышевского в «Молотове» в образе Нади Дороговой.

Таковы были те главные проблемы и тот художественный метод, которые легли в основу «Мещанского счастья». Даже при беглом сравнении этого произведения с ранними вещами Помяловского видно, как он быстро развивался. Год-два отделяет это произведение от его ранних рассказов. В нем всего-навсего каких-нибудь сто страничек... и какой диапазон. Какое умение уловить «философию эпохи» и воплотить ее не в типах-однодневках, а в настоящих исторических героях времени. И наконец, этот отважный поединок с таким художником-виртуозом, как Тургенев... Недаром Некрасов советовал Тургеневу прочесть «Мещанское счастье»...

Современные критики из «Отечественных записок» характеризовали Помяловского «птицей из породы хищных — с крылом, устроенным для сильных взмахов, с зорким глазом и острым когтем», полагая, что «эти крылья были связаны, прежде чем оперились, когти были обрезаны, прежде чем отросли, а глаза помутились от затхлой атмосферы».

Помяловский, действительно, мог оставить по себе неизмеримо большее наследие. Но исходя только из оставленного им, видишь и здесь орлиные полеты. Оттого успех «Мещанского счастья» был огромный. Оно сразу вошло в орбиту ведущих произведений 60-х годов. Не случайно современники, по свидетельству Е. Н. Водовозовой, ассоциировали

«Мещанское счастье» и «Молотова» с «Современником», «Колоколом» и «Полярной звездой», стихами Некрасова, философами-материалистами, Луи Бланом и т. д.

Сила «Мещанского счастья» в его идейной глубине с одной стороны, и в крепком его реализме, — с другой. Реализм «Мещанского счастья» заключается в изображении действительности с ее типичными жизненными чертами и красками, без всяких затей напыщенного фантазерства, с той степенью поэтической окраски, какая подсказывается содержанием, с той простотой, какую можно найти только у талантливейших беллетристов. Язык «Мещанского счастья» сочен, свеж. Он одинаково силен в кратких и сжатых описаниях природы и людей, в поэтической лирике и в боевой публицистике, которая, как мы уже знаем, является неотъемлемой частью художественного стиля Помяловского. Все эти достоинства сохранили по сей день значение «Мещанского счастья» как крупнейшего произведения русской литературы. Благодаря этим же достоинствам автор «Мещанского счастья» и был отмечен как «первая молодая и свежая сила» революционно-демократической литературы.

МОЛОТОВ

«Если у вас есть время и охота заниматься чтением, пробегите в «Современнике» (октябрьском) повесть г. Помяловского «Молотов». Я бы желал знать ваше мнение. Мне кажется, тут есть признаки самобытной мысли и таланта».

И. Тургенев

(Письмо к графине Е. Е. Ламберт).

1

В том же, 1861, году появилась повесть «Молотов», где фигурирует знакомый нам уже по «Мещанскому счастью» Егор Иванович Молотов. Подробной творческой истории обоих произведений у нас нет. В этот сравнительно небольшой промежуток, отделяющий появление «Мещанского счастья» от написания «Молотова», Помяловский стал очень известен среди писателей. Он теперь завсегдатай редакции «Современник» и весьма популярен среди студенчества и в литературных салонах. Он получает от «Современника» денежное обеспечение; он уже не знает материальной нужды. У него накапливается даже значительная по тому времени сумма, которую, по беспечности своей и презрению к деньгам, он раздает направо и налево приятелям и нищим.

Между тем читатель, заинтересованный «Мещанским счастьем», названным в подзаголовке «первой повестью», ждал следующей и с нетерпением требовал от «Современника» продолжения. Редакция в свою очередь торопила Помяловского. Поклонники же всячески мешали его работе, приглашая его на разные пирушки. В конце концов Помяловский загулял до того, что слег в Обуховскую больницу, получив белую горячку.

Здесь он скоро поправился. Но его оставили еще на целый месяц. В Обуховской больнице он стал писать «Молотова», писал день и ночь. Надо было поспеть к сроку, поэтому задуманный план повести он не реализовал

полностью. Благовещенский свидетельствовал даже, что из-за спешки был сокращен конец повести. Сам Помяловский говорил Боборыкину: «Писал я её («Молотова») спешно, на срок, да вдобавок больной». Об этом писал и А. Н. Пыпин: «он (Помяловский. — Б. В.) работал иногда слишком скоро, — так, например, он очень торопливо писал «Молотова» — свою лучшую вещь». На читателей все же «Молотов» произвел еще более сильное впечатление, чем «Мещанское счастье». Популярность Помяловского еще более возросла. «В самом деле, — вспоминает Н. А. Благовещенский, — в редкой повести, даже до сего дня, было высказано так много жизненной правды, выражен такой глубокий психологический анализ, как в «Молотове». Не случайно же и Тургенев, столь тогда нерасположенный к «Современнику», нашел в «Молотове» самобытную мысль и талант и был весьма заинтересован главной героиней Надей Дороговой.

В «Молотове» Помяловский продолжал спор с Тургеневым. Здесь уже нет усадебного фона Тургенева, использованного Помяловским в «Мещанском счастье». В «Молотове» пред нами чисто урбанистический фон тогдашнего Петербурга. Среди действующих здесь героев нет ни одного дворянина. Разночинцы и чиновники самого плебейского толка выступают основными героями. Решительное изгнание дворянина, литературный остракизм традиционного героя делают «Молотова» особенно заметным на фоне тогдашней русской литературы. Удивительно просто и вместе с тем чрезвычайно содержательно начинается «Молотов». Тут нет пышных пейзажей, сложных завязок, читатель сразу вступает «в курс». Вот начало: пол строки — «Осень глубокая». И вслед за нею сразу идет описание громадного дома старинной постройки на Екатерининском канале «с фронтонами на две улицы, где совершается шесть тысяч жизней» и из пяти этажей которого «смотрят множество окон на длинный проходной двор». Две строки — и двор точно весь перед нами. Общая целеустремленность Помяловского — его ориентировка на новые социальные слои — сказывается уже в общем описании людского материала всей «физиологии» этого дома. Больше всего внимания уделено в этом описании нижним этажам, с окнами на двор, откуда глядят мастеровые разного рода: шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и подобный люд, а также мансардам, где живет бедность, вдовы, мелкие чиновники, студенты. Заострено же внимание писателя главным образом на жизни подвалов где, вдали от божьего света, «одичавшая беспаспортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, обкрадывает их, мошенничает; это отребье сносится с дном всего Петербурга — с

знаменитыми домами на Сенной площади». В этом небольшом описании интересен прежде всего словарь энергичный, решительный, без всякой вуалировки. Сволочь», «отрепье», «днище», «бесшабашная», «беспаспортная». Разве возможен был такой словарь в литературе, шедшей под знаком Тургенева?

Урбанистический пейзаж был намечен уже до Помяловского в произведениях писателей так называемой «натуральной школы», находившейся под большим влиянием французских писателей.

Тут интересно напомнить, как представители «натуральной школы» мыслили себе задачу воспроизведения петербургских панорам. Уже в предисловии к сборнику «Физиология Петербурга» (ред. Некрасова) они считали, что главное внимание должно быть сосредоточено не на описании, но на характеристике города преимущественно со стороны нравов и особенностей народонаселения. Оттого «они» (т. е. составители книги) совершенно чужды всяких притязаний на поэтический и художественный талант; цель их самая скромная — составить книгу вроде тех, которые так часто появляются во французской литературе.

Описание Помяловского представляет собою фазу более широкую. У него всякий «эстетический объективизм», который еще так силен у авторов «Физиологии Петербурга», у Григоровича («Петербургские шарманщики»), у Гребенки («Петербургская сторона»), совершенно исчезает.

Социальный анализ — вот основная цель этого описания «громадного каменного брюха — дома, ежедневно поглощающего множество припасов».

«Одни нижние этажи употребляют до восьми телег молока, огромное количество хлеба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обеду, стук и гром колес по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу, кричат старцы о построении храмов господних, менестрели и труверы нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки, бьют в барабаны и металлические треугольники, танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди; полишинеля чорт уносит в ад, приводят морских свинок, тюленя или барсука, все зычным голосом, резкой позой, дикой рожой силится обратить на себя внимание людское заработать грош, а франты летят по мостовой, ступа толчет в аптеке и тяжко-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу... Так в большей части Петербурга; отрепье и чернорабочая бедность на дне столицы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под самым небом».

В ритмической прозе этого мастерского описания социолог-

исследователь идет рука об — руку с демократическим художником в раскрытии основных экономических пружин социальной динамики городской улицы. Отсюда беглое и вместе с тем столь многозначительное обобщение автора.

В этом громадном доме на Екатерининском канале описывается только одна квартира среднего этажа с окнами на улицу, которую занимает семья чиновника Игната Васильевича Дорогова. Но основная тенденция Помяловского, судя по дальнейшим его произведениям и по некоторым персонажам, выведенным в «Молотове» (Череванин и др.), сводилась к охвату всех этажей, в особенности к изображению подвалов.

«Молотов», очевидно, является составной частью трилогии, которая должна была показать историю возникновения и развития нашего разночинства, нашего «третьего сословия» и демократической интеллигенции. Последней части этой трилогии Помяловский так и не успел написать. Но даже в этих двух частях, в «Мещанском счастье» и «Молотове», заключается значительная социальная тема.

2

Как Тургенев в «Дворянском гнезде» дал колоритнейшую, всеобъемлющую историю дворянского рода Лаврецких, — так и Помяловский в «Молотове» дал историю разночинской семьи во всех ее фазах за сто лет. Начинается она с момента, когда основоположник этой семьи «шил дрянные сапоги, а старуха его пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали с бедой пополам всю свою дрянную жизнь».

Шаг за шагом Помяловский показывает генеалогию Дороговых, всю эту метаморфозу от прадеда-конюха и прабабки-мещанки, до положения, в котором «невозможно подозревать, что предки их стояли некогда на такой низкой общественной ступени». Вместе с диалектикой роста этой семьи показывается вся ограниченность идеала, к которому стремились поколения Дороговых.

Во всей истории этой семьи проходит красной нитью мелкое приобретательство, скопидомство. Вот Мавра Матвеевна — жена мелкого чиновника Чижикова и одна из типичных представительниц этой «семейной хроники». «Уже в медовый месяц, — читаем мы, — началась ее трудовая жизнь; вставала она в четвертом часу, ложилась в одиннадцать, стряпала, шила, мыла, а потом, когда благословил ее бог, нянчила детей —

все сама. Научилась она бабничать, знакома была с мелкими торговками, умела все купить по крайне дешевой цене. При всех недостатках Мавра Матвеевна с изумительным тактом сводила концы с концами и даже откладывала кое-какие гроши в запас, не на черный день, а, как мечтала она, на светлый. Жизнь ее день ото дня становилась светлее. В квартире Чижикова незаметно стали являться довольство и приличие, которых до того он не знал».

Кстати, в этой семейной хронике, инициатива приобретательства, бережливости, изыскания новых доходов. — всегда принадлежит женщине, в то время как в семейной хронике «Дворянского гнезда» жена играет совершенно противоположную роль разрушительницы налаженного благосостояния. В лучшем случае жены-Лаврецкие берут на себя роль Анны Павловны, которая «ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью».

Такова разница между представительницами этих двух социально-семейных хроник. Этой разницей, может быть, объясняется, почему в «Молотове» семейная хроника ведется, так сказать, по матриархату, в отличие от «Дворянского гнезда», где род Лаврецких на первом месте.

Вскрывая основное стремление рода Дороговых «выбиться в люди» — Помяловский показывает, сколь ничтожно это «мещанское счастье». Среди Дороговых виднелись уже только «спокойные лица, выражающие откровенное нежелание идти против». «Довольно для нас, лучшего не надо! — написано на их красивых, дышащих счастьем, лицах». Напрасно их убеждать, что есть жизнь более полная и широкая, хотя часто сопровождаемая душевными муками и не так материально обеспеченная.

В русской литературе XIX века Помяловский первый поднял знамя борьбы против мещанства и его куцых идеалов. Страницы «Молотова», бичующие всю эту сытую мещанскую косность, преисполнены большой художественной силой. Здесь Помяловский — прямой предтеча Чехова и Горького. Обличая мещанство и его филистерскую ограниченность, Помяловский нарисовал весьма характерную картину «мертвых душ» мещанства. Его «Молотов» в этом отношении целая эпопея, охватывающая все стороны изображаемого мещанского быта; здесь богатая галерея дополняющих друг друга характеров и типов, полная тонкого юмора, метких диалогов и острых словечек. В «Молотове» наш театр мог бы найти сцены, дополняющие Гоголя и Сухово-Кобылина.

Основная социальная среда «Молотова» — это два поколения чиновничества. Чиновники Помяловского — совершеннейшая противоположность тем чиновникам, которые встречаются у Тургенева вообще и в частности в «Дворянском гнезде». Они, конечно, нисколько не похожи, например, на Владимира Николаевича Паншина («Дворянское гнездо»), дельного чиновника, который сам не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

Тургеневские герои считают предосудительным в гостях говорить о служебных делах. Для «чиновничьей коммуны» Помяловского — это один из самых душевных разговоров. Все они проникнуты, так сказать, «заветами» своей плебейской прародительницы Мавры Матвеевны. В «чиновничьей коммуне» всегда обсуждаются «пять насущных, вечных, столбовых вопросов — дороговизна, болезни, дети, служба и свадьбы». Других тем они не знают. Вне обсуждения пяти столбовых вопросов «коммуна» испытывает скуку и апатию, от которой спасается в картах за общим самоваром.

Любопытны портреты этой «коммуны», представленной на семейных вечерах Игната Дорогова.

Макар Макарыч Касимов, помощник столоначальника и бухгалтера одного акционерного общества, он разночинец, он, как видно, лишен светского лоска Паншина, не поет романсов, не играет на фортепьянах бетховенскую сонату. Муштрованная ласковость и дрессированная любезность это — его основная черта. С первых слов он завязывает беседу о дороговизне. «Завязался оживленный разговор. Вспомнили те времена, когда фунт хлеба стоил грош и даже менее; перебрали, что ныне стоят свечи, сахар, мука, мыло, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась речь; Макар Макарыч один за другим выводил на свет божий поразительнейшие факты. Вся душа его кипела; он был в своей сфере».

Помяловский, столь щедрый на большие публицистические отступления в чисто художественном оформлении образов, в портретном своем мастерстве предпочитает сжатость и экспрессию.

Вот, например, фигура другого дороговского гостя, экзекутора Семена Васильевича Рогожникова, любившего посмеяться над дамами, ненавидевшего католиков, лютеран и ученых. «Глаза его тусклы, нос кругл, щеки большие, шея короткая — живое олицетворение паралича». «На сцену выдвинулся в лице Рогожникова служебный вопрос, коренной вопрос

этих людей».

Рассказы Рогожникова о помпадуре-директоре — это одна из колоритнейших страниц русской литературы о чиновничьем быте царского самодержавия. Речь идет о молоденьком, хорошеньком, умненьком «чиновничке» Меньшове, одевавшемся «чистенько и щеголевато» и «выкинувшем такую штуку — ни больше ни меньше, как влюбился в чиновницу, тоже бедную девочку». Тут характерно, что это сообщение о любви Меньшова вызывает всеобщее изумление.

— То есть как влюбился? — спросил Дорогов.

— Вот как в романах влюбляются...

— Ну, полно! — сказал Дорогов.

— Поросенок, — прибавил Макар Макарыч.

Это событие для всех — своего рода экзотика.

«Вот наш Меньшов сам не свой, на седьмом небе, всех своих товарищей перецеловал и на радостях сдуру разлетелся к нашему директору — «так и так — говорит — жениться хочу».

Здесь следует чисто гоголевская сценка, как директор по «высшим соображениям» запрещает жениться.

«Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять! Зачем вам дети, скажите-ка! Как вы их будете растить? Драть начнете, ругать каждый день, а они играть в бабки, в свайку, в орлянку, таскать гвозди из заборов, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грош на пряники. С горем пополам научите их читать да писать и кончится тем, что поместите их куда-нибудь в писцы, и правительство же должно будет учить их правописанию. Вот жених-то! Повернитесь-ка, я на вас в профиль погляжу... Ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай да жених! Я сам, батюшка, холостой человек... Отчего? А что я стану с детьми делать? Пороть их каждый день, а с женой браниться? — а ведь этак-то нельзя, милый мой». В этом монологе директора-помпадур дана беглая, но выразительная картина положения детей в чиновничьей семье, и все это дано в нескольких строках.

Расстроив, путем всяких гнусностей, клеветы и инсинуаций свадьбу, директор отдает милостивый приказ, «чтобы Меньшова переместили на старший оклад, там вакансия есть, и чтобы к празднику назначили ему награду».

Гости Дороговых фиксируют свое внимание, конечно, не на «моральном факторе» этого происшествия, а исключительно — на выгоде.

Все рады, что на освободившуюся вакансию Меньшова устроится сын Макара Макарыча Касимова.

Общее мнение этой коммуны: «И прекрасно сделал генерал. Беда жениться недостаточному человеку». Брак по любви для этих людей легкомысленная фанаберия. На первом месте должны быть расчет и выгода. Выпукло выступает эта мораль также в сцене сватания директора Подтяжина к дочери Игната Дорогова. Возможность такого брака пожилого директора с молоденькой чиновничьей дочерью вызывает энтузиазм в «чиновничьей коммуне». «Чиновничья коммуна, — повествует Помяловский, — связанная родной кровью, была глубоко потрясена, когда услышала, что в их родню вступало такое влиятельное лицо, как генерал Подтяжин. Казалось, сильная, огромная, благодетельная рука поднималась над коммуной и готова была бросить в среду ее чины, кресты и оклады. Эта в своем роде оригинальная коммуна, сплоченная в одну массу, перерождавшаяся в продолжение ста лет от чистого, кровного плебейства в полумещанское чиновничество, с трепетом и замиранием сердца думала, что семьи ее, вышедшие когда-то из народа в лице знаменитой прабабки, теперь акклиматизируются в департаментах окончательно, и тогда кто посмеет сказать, что родоначальники ее — мужики и мещане? В увлечении родные мечтали, что со временем можно будет сказать о департаменте жениха «департамент наш»; он весь наша родня; и молодое поколение, которое лежит в пеленках, здесь же найдет впоследствии приют».

В этой замечательной сцене Помяловский дал очень тонкий социально-психологический прогноз о путях развития разночинства как промежуточного общественного слоя. Революционные элементы разночинства были выразителями борьбы крестьянства за ликвидацию крепостничества, за американский путь развития России. Из этих элементов и вышли впоследствии представители революционных течений вплоть до предшественников марксизма. С другой стороны, определенные элементы разночинства увеличивали ряды растущей буржуазии. В «чиновничьей коммуне» преобладает именно последняя тенденция. Правда, здесь Помяловский показывает и образ, восстающий против среды Игната Дорогова и установленных в ней воззрений. Мы имеем в виду Надю Дорогову, центральную героиню второй части трилогии Помяловского. Ее борьба за право на любовь, против традиционного брака по расчету — основной сюжет «Молотова». Возвращаясь к «чиновничьей коммуне», надо отметить здесь образ, наиболее удавшийся Помяловскому, образ Дорогова. В лице Игната Васильевича Дорогова, говорит автор, «древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. В каком же направлении шло это

«очищение и возвышение».

Игнат Дорогов не только законченный тип чиновника, но являет собой своеобразное мироощущение индивидуалиста-мещанина. Его программа была — «жениться лет под сорок, когда бы понадобилась хозяйка, сиделка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородия, а следовательно, больших расходов и забот по любовному делу». Вопреки программе он женится рано, по любви, на дочери Мавры Матвеевны, но скоро наступают будни, Игнат Васильевич от тоски начинает кутить.

Помяловский, как подлинный гуманист, воспроизводит скорбные переживания в связи с этим жены его, Анны Андреевны, ее душевную драму, а также показывает, как «она незаметно сделалась полной царицей домашней жизни». Она изучает все его слабые стороны, знает, что и когда может иметь на него влияние. В результате Дорогов был укрощен «обязательной любовью» своей жены, созданным для него комфортом. Анализ этой «обязательной любви» («ей нельзя было ненавидеть мужа, иначе она погибла бы») сделан Помяловским глубоко и проникновенно. «Женщина с большими запросами от жизни объявила бы явную вражду такому мужу, как Игнат Васильевич, и непременно проиграла бы, потому что он крепок был на слово и на дело, а она не проиграла, взнуздала мужа, укротила его».

То одной, то другой чертой Помяловский показывает изнанку дороговской «семейной идиллии», изображая ее как проекцию канцелярски-бюрократического мира. Отсюда самодурство, помыкание над домашними, отсутствие общественных интересов, весь мещанский индивидуализм Дорогова, вытекающий из неуверенности в завтрашнем дне. Вся его мораль — быть в семье непререкаемым главой, чтобы каждый его каприз был законом для жены и детей. Игнат Дорогов — яркое воплощение чиновничьего уклада того времени.

Вскрывая пустоту дороговского благополучия, автор говорит: «Человеку же с большими запросами от жизни думается: «О, господи, не накажи меня подобным счастьем, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь». В свете всего этого Помяловский показывает нарождающийся протест против этой «мирной жизни» и ее коснеющей повседневности в лице Нади Дороговой и Егора Ивановича Молотова.

Надя Дорогова — центральная фигура второго романа Помяловского. Строго говоря, «Молотовым» могла бы назваться скорее первая повесть, где, как мы уже знаем, в центре поставлен Егор Иванович Молотов. Во втором же романе проблема мещанского счастья — основной сюжет. Обе повести, рассматриваемые как составные части трилогии, могут с полным правом носить название «Мещанское счастье». В «Молотове» перед нами, прежде всего, развернутая биография Нади Дороговой и история ее семьи. Иными словами, Надя Дорогова воспроизводится здесь по тому же принципу, что и Молотов в первой повести, где он является основным типом «пришедшего плебея». И Надя, и Молотов изображены как антиподы тургеневских героев и героинь с их философией «покорности судьбе». Мы пытались показать это на параллели «Молотов — Рудин». Обратимся теперь к параллели между Надей Дороговой и Лизой Калитиной («Дворянское гнездо»).

Центральная проблема «Молотова» и «Дворянского гнезда» — брак по любви. Эпиграфом могли бы служить для повести Помяловского слова Лаврецкого, обращенные к Лизе, в связи с сватанием к ней Паншина: «Умоляю вас не выходить замуж без любви, по чувству долга, отречения, что ли... Это же безверие, тот же расчет». Такая проблема встает и перед Надей Дороговой. Подробной истории роста Лизы Тургенев не дает. Ему нужен, главным образом, завершающий эффект ее романа — покорность перед мистической судьбой и уход в монастырь.

М. Авдеев, автор книги «Наше общество в героях и героинях за 50 лет», объясняет характер Лизы, кончившей удалением в скит влиянием няньки, спасшей этим влиянием Лизу от мелочности и дрянности матери и разных Гедеоновских, окруживших ее детство. «Своеобразно понятый долг, — говорит М. Авдеев о дворянских героинях, — обращает честных, энергичных и счастливо одаренных девушек в самом цвете жизни — одну — в холодную великосветскую ханжу другую — в монахиню, а третью — в прислужницу полоумному юродивому».

Несомненно, Лиза Калитина в этом смысле завершающий тип дворянской героини в литературе. Вот почему Тургенев не дает «сплошного портрета», а показывает ее «крапинками», в диалогах на свидании, в церкви и затем в монастыре. Биография Лизы — это обычная биография дворянской героини.

Поэтому для Тургенева биография Лизы не является решающим фактором в обрисовке этой героини.

Портрет Нади Дороговой дан по совершенно противоположному принципу. Прежде всего, ее биография все время рассказывается автором в

плане, так сказать, самостоятельной повести. С первого взгляда казалось, что Надя очень походила на свою мать — Анну Андреевну, так что все родственники говорили: «Надя — вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при других условиях и иначе. Лиза «побежит по той же дорожке», что все дворянские героини. А Надя Дорогова идет своим путем... Сходство с матерью не случайно фиксируется Помяловским. Мы видели, что в «женской линии» Дороговых заложены начала более творческие и организующие, чем в мужской. И неоднократно Помяловский подчеркивает что изображаемая им среда в своей женской линии имеет все данные для все большего и большего развития.

В портрете Нади Дороговой преобладает здоровое, трудовое начало. «Она постоянно занята, и всякое дело у нее делается легко, охотно. Со стороны весело смотреть, когда Надя шьет воротничок, разливает чай, учит грамоте сестру, читает отцу газету, кормит канарейку, поливает цветы, укачивает ребенка, приговаривая заботливо: «Ну спи же, спи». Все это занимает ее в высшей степени, и идеалисту досадно видеть безмятежное выражение женского лица, полное довольства своей работой и развлечениями, своим днем, своими окружающими лицами».

Молотова Помяловский проводит через профессорскую среду. Надя Дорогова воспитывается в закрытом учебном заведении. Однако влияние домашнего воспитания преобладает, она и к месту своего воспитания, к начальницам и наставникам, даже к подругам, по крайней мере к большинству их, относится холодно. Одной-другой чертой, как бы мимоходом, художник-педагог вскрывает источники этого холода.

Вот выпуск в этом учебном заведении: «все, прощаясь, плакали навзрыд и давали клятвы вечной дружбы». Надя, обнимая двух любимых подруг, тоже плакала: «как будто жалко стало детской жизни». Но ее лицо быстро освещается радостью при мысли о возвращении домой. Заметив это радостное чувство, одна классная дама, самая укусная, прокислая дева, невольно прошептала «экая каменная».

Образ этой укусной классной дамы олицетворяет собою характер этого заведения.

Надины рассказы о своей институтской жизни — страницы того же порядка, что «Очерки бурсы».

Формирование характера Нади Помяловский рисует как художник-материалист. Оттого так подробно он анализирует возникновение у семнадцатилетней Нади мысли о женихе. При показе развития Нади Дороговой Помяловский применяет тот же метод, что в «Мещанском счастье». Подробное изучение влияния среды, как мы уже знаем, основной

пункт эстетики Чернышевского и художественного метода Помяловского. Этим разительно отличается образ Нади Дороговой от Лизы Калитиной. Последняя является готовым характером, в то время как Надя Дорогова все время показывается в решающих фазах своего развития. Фейербаховское положение о единстве человека и природы лежит в основе показа Нади Дороговой в период вызревания в ней чувства и сопутствующего ему психологического процесса. Любовь Лизы Калитиной как бы «не от мира сего», она вся в покорном взгляде. Иное дело — Надя Дорогова. Каждое движение ее сердца как бы на ладони. Читатель переживает все ступени ее духовного развития, всё этапы формирования ее характера. Педагог-материалист все время сопровождает художника в воспроизведении всех этих фаз созревания образа Нади.

Это не мешает страницам Помяловского, посвященным Наде Дороговой, звучать поэзией девичьей души, здоровьем и радостью, замечательными и колоритными описаниями девичьих переживаний, которые служат прелюдией к сознательным раздумьям о браке.

Эта фаза Нади Дороговой сопровождается обильным чтением, в частности Тургенева, «многие страницы которого, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда».

Тут важно подчеркнуть, что Лиза Калитина совершенно не показана в плане влияния на нее литературы. Лиза Калитина не имеет «собственных слов», кроме одного утверждения, что «счастье на земле не зависит от человека». Она сама говорит: «Право, а я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». «И славу богу» — подумал по этому поводу Лаврецкий.

Критика Тургенева (Овсяннико-Куликовский и др.) немало поэтизировала Лизу за эти качества, она восхищалась этой тургеневской героиней: «молится утром, молится вечером, и это очень похвально. Она может любить одно прекрасное».

У Нади Дороговой не только «свои слова», но постепенно вырабатывается уже своя «формула борьбы» за право на чувства. Одна из самых интересных фаз этой борьбы критическое самосознание, вернее, классовое самоопределение. Надя начинает понимать, что дворянский роман ей чужд. Она критически относится к каждому образу, к каждому положению действующего лица, «с сомнительной усмешкой пробегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее» (речь идет о дворянской литературе вообще и о Тургеневе в частности).

Между прочим, Помяловский, продолжая применять свой метод «доказательства от противного», по-своему интерпретирует религиозность

тургеневской героини.

«Вольнодумец» Лаврецкий не смеет дотронуться до снежных струн» Лизиной религиозности. Однажды, позволив себе едва заметную иронию по адресу Лизы и ее молитв за него, он быстро уступает «высокой» укоризне Лизы. «Христианином надо быть, — заговорила не без усилия Лиза, — не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть». На «невольное удивление» Лаврецкого, Лиза отвечает, что «это слова не ее» и что частая дума о смерти ее посещает.

Лиза Калитина воплощает в себе переживания исчерпавшего себя класса. Она может думать только о смерти, даже в момент «пробуждения весны».

Иная картина перед нами в «Молотове». Стремясь к разрешению всех «основных вопросов» мирозерцания, Надя вследствие ограниченности своего образования впадает в некоторую религиозность. «В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие разговоры она вела по этому поводу, пока не почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало сердцу, когда оно, еще не испорченное, легко освободилось от многих предрассудков, но Надя спрашивала себя: «верует ли он». Ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так не был похож на всех, кого она знала. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, о любви, о браке, но всякий раз что-то ее сдерживало».

Процесс девичьего созревания, таким образом, неизмеримо шире показан у Помяловского. У Нади возникает совершенно естественная потребность узнать, «как в нынешний век веруют люди». Ибо Наде чужда всякая декадентщина, она представительница плебейского мировоззрения, она крепко думает о живой реальной жизни.

Тургенев не говорит о «волнении чувств» Лизы. Ибо, «слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки». Ибо «никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливаясь и зреет зерно в лоне земли».

Помяловский, наоборот, всячески стремится преодолеть этот

тургеневский агностицизм. Он старается проследить, «как призванное к жизни и расцветанию наливаются и зреет зерно в лоне земли».

Помяловский впервые показывает Молотова в семье Дороговых как «архивариуса одного присутственного места», пришедшего на семейные вечера.

Здесь Егор Иванович показан не через сплошное повествование, а эпизодически, являясь только как «деталь» из биографии Нади Дороговой.

Через несколько страниц этой биографии мы узнаем, что Молотов является просветителем Нади. Он оказывается единственным человеком в этой среде, который может объяснить явления новой жизни. «Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось Наде узнать, что такое за человек Егор Иванович. Он так, казалось ей, не похож на других». Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить его обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься, наконец, что же ей делать и как жить на свете.

Мы видели в «Мещанском счастье», что огромной любознательностью и неутомимой наблюдательностью Молотов отличен от Рудина.

Из сделанных нами сопоставлений героинь Тургенева и Помяловского можно уже заключить, что и Надя Дорогова отлична от Лизы Калитиной также, прежде всего, своей любознательностью, потребностью выработать свое собственное мирозерцание, основанное не на нянюшкиных суевериях, а на знаниях, на том, «как в нынешний век веруют люди». Вот эта потребность обуславливает интерес Нади к Молотову, как к человеку «нынешнего века», к знанию его жизненного пути, а «нынешний век» — это период после Севастопольской войны, когда «повсюду появилось новое, неведомое до сих пор движение».

В этом движении — по авторской трактовке — наметились три линии: «Люди мрака в то время испугались, люди света торжествовали, люди неведения, как Дороговы, ждали каких-то потрясающих переворотов».

«В этих слоях общества понимали, что тяжело жить на свете, душно — это само собой чувствовалось, но отчего тяжело, откуда ждать спасения, что делать надобно — этого никто не знал и вдруг заговорили о таких предметах, осуждались такие лица, развивались системы, читались книжки, передавались рассказы о старой, о современной жизни, так что многие совершенно растерялись и не знали, что думать». Пред лицом всего этого Надя чувствовала пробелы своего воспитания. Ибо и «жизнь и наука в ее учебном заведении были выдуманы, построены искусственно и

фальшиво».

Вот в этой обстановке мещанского покоя и ограниченности и разыгрывается «роман разночинцев», Молотова и Нади Дороговой, как стержневой сюжет повести, разыгрывается в момент, когда «чиновничья коммуна» растеряна и перепугана от обилия «нового», порожденного Севастопольской войной. В глазах Дороговых и «чиновничьей коммуны» Молотов — единственный человек, который мог объяснить явления новой жизни. На самом деле, в «Молотове» перед нами два представителя новой жизни — Егор Иванович Молотов и Михаил Михайлович Череванин.

Надя надеется найти ответ на все «проклятые вопросы» у Молотова. Она заводит беседу «с ним на тему о примирении с действительностью, об участии девушки мещанского ее круга — выходить замуж только по выбору родителей, причем в этой беседе, не раскрывая до конца своих карт, Надя выступает в роли защитницы покорности. Молотов в этом споре советует Наде «переломать действительность».

Но не доводы Молотова вдохновляют Надю на борьбу, а внезапно пробудившаяся любовь к нему. Отныне решающим фактором является для них любовь и борьба с родителями, с их желанием выдать Надю за генерала Подтяжина.

Надя, это — художественное воплощение тех идей женского равноправия, которые проводились в «Современнике» М. И. Михайловым в серии статей о женщинах, где он бичевал брак по принуждению и расчету как общественное бедствие. Здесь надо вспомнить и о Добролюбове как авторе «Темного царства». Широкая струя этого движения принадлежит шестидесятым годам, когда она — по слову Н. В. Шелгунова — промыла себе русло. Все это запечатлено впервые Помяловским в лице Нади, в ее исканиях и проблемах. Она не только осознает свое право на любовь, но и свою плебейскую гордость, свое право на идеологическую гегемонию. Отсюда ее охлаждение к дворянской литературе, потому что там выводятся «люди без труда, без заботы о хлебе насущном». Она хочет осмыслить свою среду. «Без того жить нельзя... В монастырь, что ли, итти!»

То, что для Лизы Калитиной является прямым решением вопроса (уход в монастырь), для Нади просто дикое чудачество. В «Молотове» Надя полна духом борьбы.

Борьба Нади с деспотизмом отца увенчивается только тем, «что она побеждает чиновничью коммуны», отвергая «богатую партию» генерала Подтяжина и делаясь невестой по любви. Но эта победа без широкой общественной базы оказывается куцей и приводит только к «мещанскому счастью».

Ее герой Молотов, от которого она ожидает «новых слов», в момент избавления ее от генерала Подтяжина, являясь уже женихом «по любви», этих «новых слов» не находит, он пассивен в сравнении с нею.

Молотов все же плоть от плоти кружка Дороговых, как примерно у Горького Клим Самгин — плоть от плоти столь презируемого им кружка Варавки.

Молотов радуется любви Нади к нему, тому, что, наконец, «совет себе гнездо». «Все, к чему я стремлюсь, скоро может осуществиться в моей жизни. Теперь в сторону все эти необъяснимые вопросы: я знаю, зачем буду жить на свете... Я просто любить и жить хочу».

Молотов говорит Наде — о канделябрах и картинах на стенах его квартиры; там на окнах пальма, золотое дерево, фи́га, лимон, кактус и плющ, на столах вазы, на полу ковер, перед камином дорогой резьбы ореховое дерево.

«— Много ты у меня найдешь серебра, фарфора, мрамора и дорогих бобров. Тут же библиотека всех любимых авторов, отличный, микроскоп, зрительные грубы и другие физические инструменты. Положенное число раз бываю в русском театре и в итальянской опере, абонируюсь в библиотеке и читаю все лучшее. В шкатулке собственной работы у меня заперто более пятнадцати тысяч». Он сознается, что бывало иной раз скучно до того, что «готов был схватить и брякнуть об пол вазы, разорвать картины, разметать цветы и статуи. Противно было думать, что из-за них-то я бился всю жизнь». И все же Молотов не сумел порвать с разночинной мещанской средой. «Положение нелепое — торчать от всех особняком, пальцами начнут указывать, на смех поднимут, возненавидят. Поневоле пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой же человек, как все, а дома устроить себе и моральную, и материальную жизнь по-своему, завести своих пенатов, своих поэтов, общество и друзей. Что же делать, не всем быть героями, знаменитостями, спасителями отечества».

Как ко всему этому относится Надя? На вопрос Молотова: согласна ли она с этим, — Надя не отвечает, очевидно ожидая от своего героя, чего-то более возвышенного. Тогда Молотов ставит вопрос: неужели запрещено устроить простое, мещанское счастье? Исповедь Молотова обрывается на этом вопросе. Молотов и Надя обнимаются. И авторская ремарка: «тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно...»

Этой концовкой завершается вторая повесть Помяловского.

Какова же идея повести и каков должен быть дальнейший путь Нади и Молотова?

Помяловский не дал третьей части намеченной трилогии и не известно

— по какому пути пойдет в дальнейшем «мещанское счастье» Надежды Игнатьевны и Егора Ивановича. Не известно, станет ли Молотов на путь дальнейшего «Обогащения», вложит ли свой капитал в какое-нибудь «дельце», или изберет путь революционно-общественной борьбы, чтобы избавиться от скуки, которую он испытывал и до женитьбы.

Вернее всего, зараженный духом приобретательства, Молотов пойдет еще дальше по этому пути.

Правда, в романе противопоставлен иной путь — путь деклассации, выразителем которой является Череванин. Посмотрим, какие тенденции общественного развития выражают оба эти героя Помяловского.

Обратимся сначала к Молотову, сопоставим то общественное значение, какое дает ему Помяловский в «Мещанском счастье» и как оно видоизменяется в «Молотове».

6

Молотов представлен двояко. Мы знаем его, по «Мещанскому счастью», как плебея, борющегося, правда стихийно, с «белой Породой», как передового бойца против дворянства. И в этой роли он предтеча Базарова, Марка Волохова и др. В «Молотове» мы узнаем о нем из рассказа Череванина, что после разрыва с Обросимовым его карьерой «распорядился фатум, а не разумный выбор». Он стал чиновником по совету своего университетского товарища Андрея Негодящева.

В роли чиновника Молотову пришлось наблюдать тогда по волжским селениям толпы детей — босоногих, грязных, оборванных, с непокрытыми головами. Тогда он тревожно размышлял, что это растет новое поколение безграмотного люда; «сколько из них выйдет воров, людей не имеющих нравственности». Ему хотелось приподнять крыши со всех домов и заглянуть в эти тысячи жизней. Ему хотелось и в свою и в чужую жизнь заглянуть до самой глубины, до последних основ ее. Он думал, что учился мало, и начал просиживать ночи над книгами, хотел проверить все своей головой и жизнью.

Столь высоконастроенный Молотов естественно охладевает к Андрею Негодящеву — карьеристу и цинику.

Он неустанно полемизирует с местным доктором, который проповедует что-то вроде гегелевского: «Все разумное действительно, все действительное разумно». От этого философского примирения с действительностью Молотов далек; ему еще близки идеи, во имя которых

Белинский вел борьбу с «колпаком Егора Федоровича», т. е. с философией примирения Гегеля. Молотов спрашивает: «Кто виноват в том, что человек делается злодеем? Вы докажете, что он сам один виноват в сделанном зле, а не привели его к нему другие, и тогда делайте, что хотите». Своеобразный гегелианец — доктор ничего не мог объяснить Молотову.

«Тогда он сказал себе: я должен сам, должен своим опытом, своей головой дойти до того, что мне нужно... Только то и можно назвать убеждением, что самым добыто, хотя бы добытое было и у других точно такое же, как и у меня. Я сам есть первый и последний авторитет, исходная точка всех моральных отправлений, и чего нет во мне, того не дадут ни воспитание, ни пример, ни закон, ни среда». В силу этих своих воззрений Молотов в качестве чиновника прослужил всего полтора года: его заставили выйти в отставку. Таким образом, Помяловский наделяет своего героя на первых порах теми исканиями, которые связаны с именем Белинского в период его разрыва с действительностью.

Довольно ухабистый путь проходит Молотов для того, чтобы успокоиться на положении архивариуса одного присутственного места.

«Выделился из народа, — исповедуется Молотов — и потерялся. Натура звала на какое-то другое место; во мне было полное желание определить себя, отыскать свою душу, самостоятельно выбрать род жизни и ничего не мог сделать — судьба насильно надела на меня мундир чиновника и осудила на архивную карьеру». Причиной всего этого, по Молотову, нужда — «безживотие злое».

Долгим и настойчивым собиранием собственности заканчиваются искания Молотова. Помяловский, возвращает своего героя на те рельсы, которые проложил в русской литературе Гоголь. Но проблема приобретательства, воплощенная у Гоголя в Чичикове, получает у Помяловского дальнейшее направление.

«Я сам, один, — суммирует Молотов, — без всякой посторонней помощи, сумел пробиться и выбиться из бедности. Кому я обязан своим комфортом и довольством? Откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфор. Мне никто и ничего даром не давал; судьба бросила меня нищим и голодным, провела через страшную школу бедности, и вот я стал копить деньги. Я люблю их, потому что люблю независимость, я сам себя должен прокормить... Никто воды не даст напиться без того, чтобы не согнуть спины. Все, что у меня есть, заработано своими руками... Чего фальшивить, становиться на ходули. Деньги всем нужны. Были когда-то побуждения иные, высшие, а теперь приобретать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина

настала, и вот сознаю, что я тоже приобретатель. Злато — металл презренный, — кто это сказал такую чепуху». И любимый афоризм Молотова: «жизнь растет из натуры, а не из принципа».

— Неужели запрещено устроить простое мещанское счастье? — спрашивает Молотов.

Сам Помяловский ответил на этот вопрос, конечно, отрицательно. Это вытекает не только из концовки романа — «Эх, господа, что-то скучно», но и из характера всего дальнейшего его творчества.

Таким образом, приобретательство Молотова менее романтическое, чем приобретательство гоголевского героя. Из всех приобретателей Чичиков — по верному наблюдению С. П. Шевырева — отличался необыкновенным поэтическим даром в изыскивании средств к приобретению. «Неправда ли, что в этом замысле (покупать мертвые души) есть какая-то гениальная бойкость, какая-то удаль, плутовство, фантазия и ирония, соединенные вместе. Чичиков, в самом деле, герой между мошенниками, поэт своего дела».

Приобретательство Молотова же весьма прозаично.

Недаром герой Помяловского, ставя себе вопрос «куда пошли силы его» — отвечает: «На брюхо свое, на добывание насущного хлеба. Благонравная чичиковщина... Скучно... Благочестивое приобретательство, домостроительство, стяжание и хозяйственные скопы».

Молотов идет по этому пути, снедаемый всеми противоречиями, которые определяют путь буржуазной интеллигенции. В лице Молотова этот «путь» завершается открытой буржуазной тенденцией. Оттого Молотов возродился в литературе конца XIX века в типе буржуазных культуртрегеров у Чехова (Астров) и у других. В лице Ивана Самгина Горький впоследствии («Жизнь Клима Самгина») даст один из любопытнейших фазисов развития молотовщины.

Итак, во второй повести Молотов является представителем того фланга разночинства, которое пошло по стезе приобретательства и мещанского благополучия, честной чичиковщины.

П. А. Анненков, один из первых критиков, приветствовал талант Помяловского, подчеркивая, что «фигуры его [Помяловского] расписаны, можно сказать, великолепно, кисть его занималась этим делом с любовью, обнаружила много замечательных соображений, много ловкости и силы изобретения». Однако Анненков считал, что Молотов и Череванин «выросли у самого автора не из поэтического или художественного созерцания жизни, а из головы: это «олицетворенные понятия»^[4].

Спору нет, что Молотов и Череванин как типы, только намечавшиеся

тогда, не могли еще отличаться той рельефностью, какая выпадает хотя бы на долю Дороговых.

Но в свете той эволюции, какую эти центральные типы Помяловского получили у преемственных ему писателей (Чехов, Горький), а также у современников (Чернышевский, Слепцов), социальная значимость Молотова и Череванина совершенно ясна.

Критики обычно находили общие черты у Молотова, кто с тургеневским Базаровым, кто с гоголевским Чичиковым, кто со Штольцом Гончарова и т. д.

Все эти параллели — не лишены интереса.

Но в том-то и дело, что перед Помяловским, как художником-новатором, т. е. писателем, призванным выявить мироощущение новых общественных слоев, встала потребность в переоценке всех типов и канонов дворянской литературы.

У Молотова, несомненно, много общего с Базаровым, хотя бы в их непримиримости к «белой породе», в воинственном отношении к дворянской гегемонии, в естественно-научном мировоззрении.

Но Молотов, в отличие от Базарова, дан в социально-экономическом аспекте или, по Помяловскому, в свете «экономического национального закона», как проблема соотношения независимости и труда, составляющая стержень обоих романов. Как быть разночинцу независимым? В. И. Ленин, через несколько десятков лет, исчертывая ответ на этот вопрос: «нас интересует свобода для борьбы, а не свобода для мещанского счастья».

В «Мещанском счастье» мы видим в Молотове кризис гуманизма, унаследованного им от старика профессора. Только обстановка классового антагонизма, учительство у помещика Обросимова напоминает Молотову его «плебейство». Мы видим, что Молотов в первый период своей чиновничьей карьеры («Молотов») преодолевает также традиции людей 40-х годов, их примирение с действительностью.

Образом Молотова Помяловский правильно указал тенденцию развития «мыслящего пролетария».

Он именно показал, что разночинство будет раскалываться — кто для мещанского счастья, кто для борьбы (линия Чернышевского).

Этот «раскол» — классовую дифференциацию разночинства — Помяловский представил в лице трех университетских товарищей: Молотова. Негодящева и Череванина.

Негодящев в противовес Молотову — сын не мещанина, а чиновника, он терпеть не может общих рассуждений, говорит все о карьере; студент юридического факультета, он готовится итти в чиновники. Он ловок,

речист, иногда лжет немного, мастер подделываться под разные характеры, фронт, всегда одет щегольски. Нетрудно видеть, что в лице Негодящева

Помяловский разоблачает тип Адуева-старшего из «Обыкновенной истории» Гончарова. Негодящев подтрунивает над теми, кто «на двадцать третьем году хочет понять себя за всю прошлую и будущую жизнь, составить программу, да потом выполнять эту программу. Но, дорогой мой, мы родились жить, а не составлять программы... Прямая линия не ведет к данной точке, — есть ломаная», и сей герой преуспевает по чиновной иерархии.

Совсем иную фигуру представляет собой Череванин.

Имя Череванина появляется уже в «Мещанском счастье». Там это — товарищ «с философским направлением», у которого любили собираться студенты. В «Молотове» характеристика Череванина углубляется. Это уже «странный оригинал, талантливый человек, добрая душа, но сильно поклоняющийся Дионису». Череванин — художник, но «работа его не отличалась тщательной отделкой... краски ложились клочьями». Эти две черты — поклонение Дионису (богу вина) и отсутствие тщательной отделки — черты, свойственные вообще писателям-разночинцам. «Не умеет он изображать идеальную красоту, не увидите у него Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских, но у него встречаются удивительно верно выхваченные из жизни типы». Череванин любит свое дело, его ободряют друзья, товарищи и учителя, но он постоянно охвачен волнением: «Что, если я простой маляр?» «Что если придется бросить кисть, вместо нее взять в руки перо чиновника, а мастерскую променять на канцелярию?». «Он, — читаем мы, — уверен, что имеет талант — не великий, но довольно крупный, и — непонятно — с той поры самый талант стал представляться ему достоинством не великим». Ибо одного таланта недостаточно для творчества. Необходимы еще глубокие знания действительности и большая идейная вооруженность.

Переживания Череванина — это типичные переживания неподдающегося омещаниванию разночинца.

Череванин — мастер афоризмов, сущность которых сводится к переоценке ходячей морали. В этом разрезе, своей проповедью «честной мысли», он подлинный нигилист. Он мыслит себе основную задачу эпохи в очищении новых общественных отношений от крепостнической морали и

рабовладельческой романтики.

Череванины — ломали вовсю. Он говорит о себе: «У меня так голова устроена, что я во всяком слове открываю бессодержательность, во всяком явлении — какую-нибудь гадость». Но Череванин не осознал еще, что одержим он не голым аморализмом, а отрицанием определенной классовой морали. «Кладбищенство», нотки плебейского пессимизма еще звучат в его словах. Он «ломался и кричал — труд, любовь, свобода, счастье, слава и много Прекрасных слов, но уж тогда чувствовал, что лгал, а теперь ничего не хочу, кроме сна, забвения, обморока».

В сущности его «кладбищенство» относится только к прошлому. Он ненавистник «мещанского счастья», мещанской романтики. Если Молотов «Мещанского счастья» выражает классовую ненависть плебея к дворянину, то Череванин — сатирик мещанского уклада жизни. Его пессимистические мотивы родственны высказываниям А. И. Герцена о мещанстве («С того берега» и «Письма из Франции и Италии»). Вот, например, череванинское рассуждение об эгоизме.

«О ком же заботиться, для кого хлопотать? — спрашивает он. — Уже не для будущего поколения ли трудиться... Вот еще диалектический фокус, пункт помешательства, благодущная дичь... Да нет, и благодарно не будет грядущее поколение; оно обругает нас, потому что пойдет вперед, дальше нас будет сдавлено в своих стремлениях людьми старого века, т. е. моими и твоими сверстниками и единомышленниками. Ведь все, что мы называем отсталым, во время оно было передовым, свежим, бодрым, боролось в свою очередь с давно прошедшей рутинной, о которой до нас еле слух дошел».

Таков и характер череванинского кружка. Этот кружок, где молодежь буйно проводит время, полная противоположность тем уголкам столицы, где «совершается тихая жизнь», так, например, семья Дороговых. Жизнь этого кружка бурно проходит перед читателем в больших череванинских монологах «кладбищенской» скептической философии, в многослитных возгласах пирующей молодежи, сопровождаемых обычными авторскими комментариями.

Молотов полагает, что в эту нелепую обстановку может привлечь только недостаток эстетического чувства, грубость, одичалость характера, откуда и идет вся эта нелюбовь к ровной, тихой, «полной глубокого смысла, семейной жизни».

По Череванину же, его собутыльники — это дивные ребята. Однако характер этих «дивных ребят» вскрывается перед нами, во-первых, в тех описательных ремарках автора, которые отмечены несколько

саркастической словесной интонацией, но еще больше этот характер проявляется в хаотических возгласах и репликах, где замечательно передана вся эта своеобразная идеологическая деформация.

«Что делаем? Мы вопросы современные решаем... — отвечает Череванин Молотову. — Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, что-нибудь спроста? Нет, это о Суэзском перешейке валяет. Не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу, там решают излияние французского кабинета в Азии. А посмотри-ка на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?

— Гегель и прогресс, Гегель и прогресс! — кричал длинный господин. — Это все любители просвещения, братец ты мой!

— Чорт знает, как скучно дома, — говорил как-то Касимов: — что за пошлая, телячья жизнь. Ни о чем не услышишь живого слова; бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто и невыносимо... А какая чистота нравов...»

Череванинский кружок — это реакция «на пошлую телячью жизнь» дороговской среды, и вместе с тем Помяловский вскрывает индивидуалистическую беспочвенность этих анархистствующих молодых людей, Отсутствие за этим кружком какой-либо массовой опоры.

Недаром Череванин разъясняет Молотову, склонному найти в болтовне этих людей отголосок каких-то «убеждений», что это «просто дурь на себя напустили»: им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «ай, маменька, не буду». Предложи любому из них чин регистратора, сейчас убеждения по боку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, — а какая среда? Натуришка гнилая, идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы!

Так изображал Помяловский два поколения разночинцев — кружок Игната Дорогова и кружок Череванина, — вскрывая все ничтожество их стремлений к «мещанскому счастью», приводящих либо к косности старшего поколения, либо к жалкой анархической болтовне второго кружка.

Самого Помяловского, конечно, не удовлетворяло ни череванинское кладбищенство, ни молотовское счастье. Ему хотелось показать подлинно-общественный творческий тип той эпохи. Очевидно, это и являлось целью последней части трилогии.

Кладбищенская философия всячески преодолевалась Помяловским, из нее тенет он всегда рвался.

Отсюда его неугасимый интерес к вопросам воспитания, к задачам литературы как оружию познания новых «участков жизни».

Благовещенский рассказывает, как в экстазе Помяловский говорил:

— Вот где жизнь-то кипит! Теперь работать надо: руки и готова крепко нужны!

«Молотов» и «Мещанское счастье» — это первые реалистические романы о демократической интеллигенции, выступившей на арену русской общественности.

Неудивительно, что эти произведения Помяловского встречены были передовыми современниками, как знаменательные страницы начинающейся новой литературной эпохи. «Молотов», говоря словами Н. А. Благовещенского, произвел «на читающий люд» глубочайшее впечатление. Помяловский сразу занял место в ряду наших лучших беллетристов. «В самом деле, — добавляет Благовещенский, — в редкой повести, даже до сего дня, было высказано так много жизненной правды, выражен такой глубокий психологический анализ». «Молотов» произвел глубокое впечатление не только на сторонников того направления, к которому принадлежал сам Помяловский и его друзья по «Современнику», но известны частые и радостно взволнованные отклики, какие вызвал «Молотов» хотя бы у Тургенева. Тургенев многократно возвращается к оценке этого произведения, как исключительного явления. Месяц, два спустя после выхода «Молотова» в декабре 1861 года он пишет Анненкову: «Вы ничего не пишете мне о литературе — видно о ней нечего писать... Я прочел в «Современнике» повесть Помяловского и порадовался появлению чего-то нового и свежего, хотя недостатков много, но недостатки молодости». Любопытно, что под влиянием этого впечатления Тургенев в этом же письме как-то примиренно говорит даже о Добролюбова, которого, в пылу раздражения, споря с Чернышевским, назвал как-то «очковой змеей». «Огорчила меня, — пишет Тургенев, — смерть Добролюбова, хотя он собирался меня сесть живым. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна».

Но Тургенев не только хвалит это произведение Помяловского, он резко полемизирует с некоторыми своими друзьями, с закаленными палладинами барской эстетики. Любопытны в этом отношении письма Тургенева к Фету от 1862 года, предметом которых является «Молотов». В первом письме Тургенев рекомендует Фету произведение Помяловского в таких словах: «Прочтите в «Современнике» повесть Помяловского

«Молотов» — нос ваш учует нечто похожее на свежее веяние чего-то похожего на талант». Мы не знаем точно, каков был отклик самого Фета на это письмо Тургенева, ответное письмо Фета не дошло до нас, но, судя по второму письму Тургенева, можно себе представить, что Фет отнесся отрицательно к «Молотову» за его идейность и публицистичность, — мол, произведение слишком умное, а в художественном творчестве — по эстетическим канонам Фета — ум только мешает. В ответ на это Тургенев пишет Фету:

«Я ожидал отчета о Минине (Островского. — Б. В.), а вы прислали целую диатрибу по поводу Молотова. Знаете ли что, милейший мой, — так же, как Толстого, страх фразы загнал в самую отчаянную фразу, так и вас отвращение к уму в художестве довело до самых изысканных умствований и лишило именно того наивного чувства, о котором вы так хлопочете. Вместо того, чтобы сразу понять, что Молотов написан очень молодым человеком, который сам еще не знает, на какой ноге ему плясать, вы увидали в нем какого-то образованного Панаева. Вы не заметили двух, трех прекрасных и наивных страниц о том, как развивалась и росла эта Надя или Настя, вы не заметили других признаков молодого дарования, уткнувшись в наносную пыль и сушь, о которой и говорить не стоило».

Нужно помнить, что «недостатки», о которых говорит Тургенев, скорее относятся не к мастерству Помяловского, а к его методу, который, как мы знаем, насквозь проникнут полемичностью в отношении тургеневской школы. Но характерен тон тургеневского письма к Фету. Отрицательное отношение последнего к Помяловскому для Тургенева просто диатриба, т. е. мелкая придирчивость.

Попутно Тургенев заступается за «ум» в художественном творчестве.

«Вы, — пишет он, — поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего. Это воззрение должен назвать славянофильским, ибо оно носит на себе, характер этой школы: «здесь все черно, а там все бело», «правда вся сидит на этой стороне». А мы, грешные люди, полагаем, что этакий маханьем с плеча топором только себя утетишь. Впрочем, оно, конечно, легче, а то, признав, что правда и здесь, и там, что никаким резким определением ничего не определишь, приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и так далее, а эта скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному: «Смирно! Ум, понял, направо! Марш! Стой, равняйся! Художество! Налево марш! Стой, равняйся!» И чудесно! стоит только подписать рапорт, что все, мол, обстоит благополучно. Но тут приходится сказать словами (умными или глупыми, как, по-вашему?) Гете «Ja, wenn wir es nur nicht besser wüssten»^[5].

Так Тургенев, правда, со свойственной ему либеральной половинчатостью, защищает «ум» в творчестве Помяловского. А мы ведь уже знаем, что этот «ум» означал у Помяловского беспощадный анализ социальной действительности, идейную непримиримость революционного демократа, разрушавшего дворянские авторитеты, ниспровергавшего все основные каноны традиционной эстетики,

ВСТРЕЧИ, СВЯЗИ, ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ

«Не только все чтили в нем крупный талант, но кто хоть раз встречался с ним в светлые минуты, тот не мог не поддаться обаянию его привлекательной личности».

Л. Ф. Пантелеев.

«Бедный Помяловский, бедный Зефирот. Какой милый был он, сердечный человек — несчастная страсть к вину сгубила его, он пил запоем».

Е. Штакеншнейдер.

Молодежь 60-х годов очень любила автора «Молотова» и «Мещанского счастья», поэта Леночки и Нади Дороговой, художника-реалиста, так правдиво освещавшего пути развития современного ему «молодого человека», его сокровеннейшие думы и искания. А молодежь 60-х годов умела любить своих писателей. «На пиру русской природы, — рассказывает Н. В. Шелгунов, — первое место принадлежало тогда, т. е. в 60-х годах, литератору. Никогда, ни раньше, ни после, писатель не занимал у нас в России такого почетного места. Когда на литературных чтениях являлся на эстраде писатель, пользующийся симпатиями публики, стон стоял от криков, аплодисментов и стучанья стульями и каблуками. Это был не энтузиазм, а какое-то беснование, но совершенно выражавшее то воодушевление, которое вызывал писатель в публике».

Помяловский меньше всего был, разумеется, кабинетным писателем. Его девиз — познание жизни, деятельное ее преобразование, его неутомимое стремление вводить в литературу новые «участки жизни» толкали его быть всегда на людях, в потоке тогдашнего движения, и часто возглавлять его. Активная деятельность Помяловского на таком важном узлом пункте современного ему общественного движения, как воскресные школы, не прекращалась до самой последней минуты их существования, насильственно прекращенного 13 июня 1862 года царским

правительством. Здесь Помяловский встречал, с одной стороны, лучшую часть интеллигентной молодежи. С другой стороны, очень интересен был для Помяловского-писателя людской состав учащихся. С этой чудесной молодежью, ринувшейся «в народ», в дело просвещения его, Помяловский очень подружился, бывая на ее вечеринках, обсуждая с нею все острые проблемы литературы и жизни.

Правительство, что называется, со скрежетом зубовным терпело эту светлую общественную инициативу 60-х годов. Уже в декабре 1860 года министр народного просвещения издал циркуляр о приравнении воскресных школ к приходским училищам и об усилении контроля за преподаванием и за педагогическим персоналом воскресных школ. Были разработаны казенные правила, а с ними в воскресные школы забрались формализм и рутина. В замечательной записке по поводу этого правительственного циркуляра А. П. Покровский, член революционного кружка Аргаропуло, писал: «Бездарные, тупые люди хотят помешать заре новой жизни, народа, задуть свежее учреждение гнилой формой, хотят сделать народ каким-то религиозным дьячком, нравственным пошлецом, пусть народ будет ханжой, пошлым святошей, который хладнокровно зарежет человека в понедельник и не станет общаться с женщиной в среду или есть скромное в пятницу; пусть он будет моралистом, но только не понимай он ничего, и тогда пусть существуют все воскресные школы, размножаются, как мухи; но те школы, какие явились и какими они хотели сделаться, безапелляционно осуждаются на каторгу без срока».

Помяловский, один из лучших педагогов воскресных школ, прославился своим методом преподавания, потому что этот метод направлен был на пробуждение сознательности, на борьбу со всякими религиозными суевериями и политической отсталостью. Оттого его ученики, по свидетельству Пантелеева, в самое короткое время усваивали то, что у других преподавателей, и притом далеко не рядовых, доставалось им лишь после долгих месяцев. Можно себе представить, каким глубоким потрясением была для Помяловского ликвидация воскресных школ (2 мая 1862 г.) после знаменитого пожара Апраксина двора, в силу которой загублена была — по выражению Н. В. Стасовой — «светлая, своеобразная, глубоко плодотворная жизнь». Ведь Помяловский отдал этому делу много своих сил, таланта и энтузиазма.

Другой участок общественной деятельности, привлечший к себе Помяловского, — был университет и революционное студенчество. Мы уже знаем Помяловского в университете и то впечатление, какое на него — выходя из семинарии, производили лекции свободомыслящих

профессоров. В 1861 году университет кипел общественными страстями, kloкотал идейной борьбой. Н. А. Благовещенский, в качестве единственного биографа Помяловского, ничего не сообщает нам об отношении Николая Герасимовича к этому студенческому движению. Между тем в разных источниках разбросано достаточно сведений, чтобы видеть активное участие Помяловского в этом движении. Один из самых обстоятельных мемуаристов студенческого движения 60-х годов Вл. Сорокин, автор «Записок старого студента» («Русская старина»), несколько раз упоминает имя Помяловского среди властителей дум передового студенчества: «В продолжение третьего университетского курса все наиболее выдававшиеся из наших товарищей окончательно сблизились с такими передовыми писателями, как Чернышевский, Добролюбов, Михайлов, Помяловский, с редакциями журналов «Русское слово», «Современник» и со многими другими лицами, на которых высшая петербургская администрация поглядывала косо, как на руководителей общественного мнения, начавшего приобретать уже в то время значительную нравственную силу, с которой приходилось уже считаться в высших правительственных сферах». Рассказ Сорокина о популярности Помяловского среди студенчества, о личном общении последнего с лучшими студенческими представителями, а также о роли Николая Герасимовича как общественного деятеля — интересен, конечно, сам по себе. Он в то же время проливает свет на другие биографические источники, хотя бы по вопросу об участии Помяловского в студенческом движении. Так, например, известный сибирский этнограф Г. Н. Потанин рассказывает, что он видел во главе студенческой демонстрации 24 и 25 сентября 1861 года в качестве предводителя Н. Г. Помяловского. Помяловский звал присоединиться к демонстрации Потанина, вспоминая об этом почему-то с некоторой злобой. Подвыпивший, мол, Помяловский хватал его за рукав, крича: «Идем, идем! — Куда? — спрашивал я испуганно. — В Колокольный переулок, попечителя Филипсона громить, чтобы отменил матрикулы». Потанин отказывался присоединиться, говоря: «Мне с вами не по пути, я «за делом иду, да пустите, оторвете рукав!» «Насилу отделался от предводителя, получив вдогонку «подлец». Общественное значение этой демонстрации было немаловажное. Стоит только вспомнить, с каким пламенным энтузиазмом встретил Герцен весть об этой демонстрации в статье «Исполин просыпается».

Возмущаясь декретами правительства, приведшими к студенческим волнениям, тогдашняя студенческая прокламация призывала к бодрости

студентов, так как за студентов «здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободно мыслящий людей, Западная Европа, все лучшее, передовое. А против — только пять-шесть олигархов, тиранов подлых, крадущих, отравляющих рабов, желающих быть господами». «Главное, — читаем мы здесь, — бойтесь разногласия и не трусьте энергичных мер. Имейте в голове одно: стрелять в вас не смеют — из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт. Уже теперь наши начальники твердят (покачивая головами) «столица неспокойна».

Процессия студентов носила, конечно, более внушительный характер, чем тот, который ей придает Потанин. «Был прекрасный сентябрьский день, — рассказывает упомянутый нами Сорокин: — солнце ярко освещало длинную вереницу студенческих процессий... Дорогой к нам массами присоединялись девицы — слушательницы университетских лекций, и множество молодых людей, имеющих какое-либо отношение к студенчеству или просто нам сочувствующих». Царское правительство встретило эту демонстрацию заранее заготовленной вооруженной силой: усиленные наряды полиции, жандармов, пожарные с топорами и часть стрелкового батальона с ружьями.

День 24 сентября можно считать началом студенческого революционного движения. Помяловский не мог, конечно, не примкнуть к нему. В общественной жизни 60-х годов большую роль играли также разные кружки, клубы, редакционное собрания и т. д. Арест студентов, закрытие университета держало общество в приподнятом настроении. В домах собирались, спорили, обсуждая события, готовясь к новым стычкам. Образовались специальные салоны, где бывали писатели, профессора, студенты, революционно настроенная молодежь и т. д. Такие вечера были у Н. Г. Чернышевского. Их любила устраивать его жена, Ольга Сократовна. На этих собраниях — по воспоминаниям В. Обручева — бывали среди прочих Антонович, Помяловский, Павлов и др. На этих собраниях спорил и говорил больше всех сам Чернышевский.

Интересные «вечера» происходили также у известного тогда архитектора Штакеншнейдера, дочь которого, Елена, автор популярного «Дневника», одна из образованнейших тогдашних женщин, была душой этих вечеров. Штакеншнейдеры познакомились и сдружились с Помяловским весной 1861 года, скоро после появления «Мещанского счастья». «Помяловский, — рассказывает Штакеншнейдер, — слыл у нас под именем «Зефирот». «Что такое «зефирот» теперь немногие, пожалуй, помнят, и я уже отчасти забыла. Была какая-то мистификация, кажется в «Петербургских ведомостях», что где-то появились странные крылатые

существа с человеческими обликами, голубоглазые, с золотистыми волосами, которых зовут зефироты. В тот день, когда эта мистификация была напечатана, в первый раз явился к нам Помяловский и читал ее вслух. И по мере того, как он читал, каждый из слушающих находил удивительное сходство между чтецом и описываемым странным существом, конечно в лице только».

Помяловский был душою этого общества. Штакеншнейдеры и их гости были в восторге от обаятельной личности Николая Герасимовича. Л. Ф. Пантелеев, бывая у Штакеншнейдеров, разделял их восторг в отношении Помяловского.

«Что это был за удивительный человек, — вспоминает Пантелеев: — в нем особенно поражала одна черта, не часто в те времена встречающаяся в представителях молодого поколения: у Помяловского и следа не было заметно книжного развития. Казалось, он вырос среди известных идей, что жизненные идеалы того времени составляли реальную действительность, окружавшую его с раннего детства. Где других мучило сомнение или запутанная сложность явлений, там для Помяловского все было просто, ясно, как божий день. И вместе с тем его мысль не отзывалась тою поверхностностью, для которой все вопросы давно решены — остается только повторять готовые формулы. В обществе, о чем ни шел разговор, это был блестящий собеседник, его речь была жива, остроумна, но всегда сдержанна; его разливистый смех не только не мешал, но всех заражал веселостью. Самая наружность Помяловского невольно привлекала к нему, его густые русые волосы от природы закидывались назад, над лбом и делали лицо открытым, смелым, но не вызывающим, а голубовато-серые глаза отражали детски-бесхитростное и любящее сердце».

Николай. Герасимович бывал также часто на вечерах у Ф. М. Достоевского, с которым он переписывался уже в 1861 году. Сохранился интересный отзыв Достоевского об умении Помяловского имитировать богохульство попов. «Никто так сложно, — рассказывал Достоевский, — и совершенно кощунствовать не умеет, как семинаристы. В этом я сам когда-то убедился, да и от Николая Герасимовича слышал (от Помяловского). Тот рассказывал о них такие вещи, что волосы станут дыбом. Он (т. е. Николай Герасимович) знал всякие кощунственные молитвы, многие возгласы, гнусные пародии богослужения. И говорил он при этом, что исполнялось это все на обиходные церковные напевы, по гласам. И как удивительно хорошо покойный Николай Герасимович рассказывал об этих кощунствах, даже отвращение как-то шло мимо, забывалось как будто, так он воодушевлялся. А ведь человек он был робкий с чужими... когда не бывал

навеселе».

Помяловский бывал охотно также в шахматном клубе, где собирались литераторы и общественные деятели. Здесь скорее был литературный клуб, весьма поддерживаемый Н. Г. Чернышевским. Кроме Чернышевского и Серно-Соловьевича, активного тогда деятеля «Земли и Воли», бывали П. Л. Лавров, Г. Благосветов, Вернадский, В. Курочкин и др. В буфетной этого клуба часто бывала склонная к водке литературная братия, среди них всегда Помяловский. Шахматный клуб был закрыт правительством в 1862 году за «неосновательные суждения». В шахматном клубе — по свидетельству Благовещенского — Помяловский проповедывал идею общинного (коллективного) литературного труда, и в голове его возникало множество проектов по этому поводу.

Здесь он хотел организовать своеобразное общество писателей-пролетариев, цель которого состояла бы в многогранном исследовании общественного быта. Он тогда уже задумал исследование быта петербургских люмпенов — нищих, бродяг, проституток, так называемых «отверженных» классового общества.

Интерес к люмпенам был у Помяловского не мимолетный. Он настойчиво собирал огромный и разнообразный материал. Это видно из отрывков сохранившегося романа «Брат и сестра», материал для которого Помяловский добывал в самых недрах «отверженства». Он стал бывать на Сенной улице в самой Вяземской лавре, где ютились пропойцы и уголовные элементы петербургского «дна». В это время Помяловский говорил профессору Щапову, что он «обрабатывает комическую повесть о разной оценке судом физиономии различных лиц при нанесении удара». Эта повесть вошла составной частью в роман «Брат и сестра». Со Щаповым Помяловский познакомился в январе 1862 года. Знакомство со Щаповым возникло по инициативе Помяловского, который всегда интересовался выходцами из низов, из «семинаристов», проявивших себя чем-либо в науке, литературе и т. д. Он поэтому хотел лично знать «семинариста» Щапова, ставшего знаменитым историком. Первая беседа Помяловского и Щапова протекала задушевно в серьезных литературных и научных разговорах. Оба талантливых «семинариста» говорили об артельных журналах и газетах («Век» и «Мирской толк»). «Очерки бурсы» были уже готовы, Помяловский лелеял мысль изобразить теперь быт провинциальных духовных училищ и семинарий. Он советовал Щапову написать свои воспоминания о сибирской бурсе, что, между прочим, последний и сделал. Помяловский и Щапов посвящали друг друга свои замыслы. Будущая жена Щапова, Ольга Ивановна Жемчужникова,

пользовавшаяся славой идейной и образованной женщины, еще до замужества знакома была с Помяловским и отзывалась о нем с большим уважением. Помяловский оказал большое влияние на склад ее характера и выработку ее воззрений. В ее обществе Помяловский просиживал до глубокой ночи и, как говорят современники, свободно изливая накипевшую злобу, давал полный простор своему резкому сатирическому раздражению.

Этот интерес к своему брату «семинаристу» питал дружбу Помяловского с Серафимом Петровичем Автократовым, учившимся за границей философии, эстетике, биологии, медицине и выпустившим в 60-х годах «Учебник психологии» и перевод знаменитой книги Гобса «Левиафан». У Помяловского была та же черта, которая сильно развита была и у Горького: это большое чувство радости, испытываемой от культурного роста выходцев из народа.

— Вот, это наши трогаются, — говорил Помяловский в восторге, — на барство-то рассчитывать нечего. А вот уж, погоди, наши выставят свои силы, не то будет.

В этот период он везде бывал, где пахло общественной инициативой, где собиралась идейная молодежь, где думали о новых формах литературы и жизни. Он был очень дружен с первыми студентками 60-х годов Екатериной Иеронимовной Корсини и Антониной Петровной Блюмер. У Блюмер бывал Помяловский вместе с Костомаровым, Пыпиным, Вороновым. Современники отзываются с восторгом о кружке Блюмер, как одном из лучших тогдашних идейных центров, в котором Помяловский играл первостепенную роль. Мы уже знаем, что идея общинного литературного труда активно проповедывалась Помяловским. В связи с этим сложилась журнальная артель, задумавшая издать газету «Мирской толк», редактором которой намечен был известный революционный публицист Г. З. Елисеев. Здесь Помяловский и Щапов должны были принимать ближайшее участие. Все было готово. Но правительство не разрешило выхода газеты. В это время артель приобрела журнал «Век», желая гарантировать работников пера от эксплуатации со стороны литературных предпринимателей. Левое крыло членов артели во главе с Н. А. Серно-Соловьевичем стремились сделать журнал выразителем революционных идей. Серно-Соловьевич формировал тогда революционную организацию «Земля и Воля». Помяловский примкнул к этому журналу. Сюда он отдал небольшой очерк «Зимний вечер в бурсе». «Век» скоро прекратился; очерк о бурсе был напечатан во «Времени» — журнале Достоевского (1862 г., май). Позже этот журнал стал явно реакционным. Но вначале журнал сумел привлечь к себе таких,

сотрудников, как Салтыков и Некрасов. Во «Времени» же (1862 г., кн. 9) напечатан и второй очерк бурсы («Бурсацкие типы»). Остальные очерки бурсы Помяловский напечатал в «Современнике» по возобновлении этого журнала.

ОЧЕРКИ БУРСЫ

«Нет, вы узнайте, какая жизнь создала нашего брата; я покажу вам, что значит бурсак, я заставлю вас призадуматься над этой жизнью».

Н. Помяловский.

«Читаю «Бурсу» Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомы отчаянные скуки, перекипающие в жестокое озорство. Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великолепный звон, — едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько».

М. Горький.

1

Очерки бурсы» произвели потрясающее впечатление на современников. Помяловский показал чудовищный «участок жизни» царской России. Он показал педагогов, не уступавших в своей жестокости даже царским тюремщикам. Он изобразил учебные заведения, более страшные, чем каторжные «мертвые дома». Параллель между каторгой и бурсой напрашивалась тогда у всех в связи с тем, что в журнале «Время» рядом с «Очерками бурсы» печатались «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

Нечего и говорить, что змеиному шипению охранителей бурсацкой педагогической системы, разоблаченной Помяловским, не было границ. Лжец, иуда-предатель, пьяный клеветник — такая брань сыпалась на Помяловского. Церковные публицисты исходили злобой, критикуя эти очерки. Они создали версию, будто Помяловский был выгнан за пьянство

из семинарии. В отместку, мол, написал свой первый очерк, от которого печать пришла в восторг, объявляя автора гениальным писателем, требуя от него продолжения этих очерков. И вот «бедный невольник печати» продолжал писать, нуждаясь в деньгах... на водку.

Так реагировал поповский муравейник на ту правду, которую Помяловский мужественно и открыто бросил в лицо царскому правительству и князьям церкви. Общественная реакция оказалась настолько острой, что даже духовное ведомство вынуждено было зашевелиться и приступило к очередной реформе своих учебных заведений...

Очерки бурсы рассматривались тогдашней критикой преимущественно с точки зрения их обличительного значения и фотографичности.

Так, критик «Библиотеки для чтения» (1863 г., март), ставя высоко творчество Помяловского, склонен был в «Очерках бурсы» видеть только дагерротипически-верные картины былой бурсацкой жизни, написанные талантливым человеком, «так сказать, между делом». Такой же точки зрения держались и «Отечественные записки» (1862 г., ноябрь): «Очерки», мол, не художественное творчество и не ученое исследование, а только фотография... Журнал полемически оспаривал причисление «Очерков бурсы» к жанру физиологического очерка (у Помяловского они названы физиологическими очерками), указывая, что изображаемый Помяловским жизненный уголок настолько подвержен гниению, что здорового организма там и в помине нет: только гной на гное и язва на язве. А посему «Очерки этой гнили» являются скорее патологическими, чем физиологическими.

Спору нет, общая картина бурсы патологическая. Но ведь эта картина нужна Помяловскому не только для патологии, а именно для «физиологии», для показа, какие самобытные натуры здесь калечатся.

Помяловский, рисуя того или иного героя бурсы, как воплощение определенного порока, всегда показывает этот порок, как продукт всей системы бурсы. Оттого рядом с этой основной «порочной чертой» его героя всегда идет другая — например, верность товариществу у дикого деспота Гороблагодатского, виртуозность и талантливость Аксютки и т. д.

Это прекрасно показал Д. И. Писарев.

В своей статье «Погибшие и погибающие» (о «Записках из мертвого дома» и «Очерках бурсы») он писал:

«Гибель таких умных, даровитых, блестящих и энергичных личностей, как Аксютка, неизбежна, но неизбежна она только потому, что огненный поток великих людей, очищающих и увлекающих за собою все, что способно мыслить, желать и увлекать, — до сих пор не проложило себе

дороги в низшие беднейшие и грязнейшие слои нашего общества.

Но пока солнышко взойдет, до тех пор роса глаза выест и многие сотни Аксюток сгниют на нарах мертвых домов, в ожидании очищающих, обновляющих и увлекающих идей»^[6]. О Гороблагодатском Писарев говорит, как о самом чистом и прекрасном воплощении дикого бурсацкого идеала, о его беспредельной ненависти к угнетающей рутине и беспредельной честности по отношению к товарищам, отмечая, как бурса извращает эту ненависть, направляя ее на путь деспотизма.

Действительно, все герои Помяловского характеризуются чувством протеста, чувством независимости. Да не только ученики, но и учителя выведены Помяловским, как жертвы системы.

В «Очерках бурсы» мы имеем, конечно, не только фотографию. Перед нами, наоборот, подлинное художественное произведение. По отбору тех или иных типических черт и показу характеров видно, как мрачная действительность бурсы преломлялась через творческий вымысел в социально-педагогическую тенденцию. Упор был сделан не только на показ застеночного характера самой бурсы, но и на те ростки таланта, которые пробиваются сквозь грязь и кровавую жестокость этого страшного института.

Помяловский неустанно выявляет незаурядность бурсаков, граничащую одновременно и с своеобразной дикостью и талантливостью. При другой системе воспитания вместо «отверженных», кандидатов каторги, вышли бы высоко-даровитые люди.

Характерная черта бурсы — тупая жестокая казенщина — ассоциировалась со всем строем царского самодержавия. Этим и объясняется то потрясающее впечатление, которое производили «Очерки» на современников.

Такого впечатления, конечно, не мог бы оставить по себе простой фотографический снимок с сравнительно небольшого уголка русской жизни.

«Очерки бурсы» полны ярких красок и живой жизни. Художественные по выполнению, они необычайны и правдивы. Это вынуждены были признать даже некоторые церковники.

«Помяловский, — писал епископ Никодим, — не раз обвинялся в излишне карикатурном изображении духовной школы его времени. Но это обвинение не вполне справедливо. Дела училищные того времени подтверждают много из сказанного им. В одном, например, контракте 1848 года мы читаем, что постельное белье мылось «не менее трех раз в год»... В ведомостях о поведении нередко встречаются указания на те пороки, о

каких писал Помяловский» («Нива» 1911 г. стр. 594). в этой же статье сообщается, что один из главных героев бурсы — Сатана, был подлинная личность, носившая имя Изота Ивановича Елисеева. Эта фактичность пронизывает изображение наиболее интимного героя «очерков» Карася.

Итак, «Очерки бурсы» нисколько не фотография, а составная часть большой автобиографической повести того же плана, что «История моего современника» В. Г. Короленко, «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького и т. д.

Автобиографический жанр всегда принимает определенную классовую окраску, по мере выявления топических черт данного общественного слоя.

Помяловский понимал это лучше многих других своих современников. Вот почему он подходит к тому или иному явлению исторически. Припомним историческую генеалогию Дороговых, подробную историю (начиная с Иоанна III) рода князей Ремнищевых («Брат и сестра»). Такую же историчность явлений он соблюдал и в «Очерках бурсы».

Помяловский всегда мыслил себя человеком своей общественной группы. В этом направлении выдержан ряд его афоризмов, вроде «Где нам в барство лезть»,

«Вот, это наши трогаются», «А вот, уж, погоди, наши выставят силы, не то будет». «Вы узнаете, какая жизнь создала нашего брата», «Мы — теперь сила» (все взято из бесед Помяловского с Николаем Успенским и Н. А. Благовещенским).

Задуманная Помяловским автобиографическая повесть типа «Истории современника» должна была показать через личную биографию Карася путь и перепутье поколения шестидесятников. В этом отношении весьма интересны показания Н. А. Благовещенского.

«Еще по выходе из семинарии, — рассказывает последний, — он (Помяловский) начал писать большой рассказ «Данилушка», намереваясь героя рассказа провести через всю бурсу и таким образом изобразить при этом полную картину бурсацкого воспитания». Помяловский руководствовался этим рассказом при составлении «Очерков бурсы».

Мы имели уже повод говорить о том, в каком виде в «Данилушке» отражены детство и отрочество Помяловского. Известно, что «Очерки бурсы» должны были заключать в себе двадцать очерков. Но первоначальный замысел был замкнут только в пределах «Зимнего вечера в бурсе», как части автобиографической повести.

Огромное впечатление, произведенное этой первой картиной бурсы, страстная полемика вокруг нее толкнули Помяловского на расширение и

углубление своего первоначального» замысла.

Основную часть автобиографической повести составляет очерк четвертый — «Бегуны и спасенные бурсы», главное лицо которого — Карась. Здесь Карась — центральный герой. Повесть о Карасе начинается здесь с его «боевого крещения», с избиений, мучительства со стороны товарищей, а также поркой со стороны учителей. Сцена эта, кончается приходом учителя Лобова, подвергающего Карася жуткой порке «на воздушных».

Эта сцена инквизиции, одна из самых трагических сцен, какие знает мировая литература. Страницы, описывающие ту мертвую безнадежность и глухое отчаяние, которые легли на сердце Карася после этой порки, до сих пор «горят и жгут» силой своего психологического проникновения и трагической безысходности. Переживания мальчика Карася гораздо реальнее «детских слезинок» Достоевского. Глубоко трагично сознание мальчика, что «ни во внешнем, ни во внутреннем мире не осталось места, куда бы можно было спрятаться». И ему остается одно — мечтать о смерти. Эти страницы о Карасе интересны и как психологический документ (биография Помяловского) и как художественное воспроизведение плебейского гуманизма лучших представителей бурсаков-разночинцев. Тут разрешается отчасти вопрос, как из бурсы все-таки выходили некоторые деятели 60-х годов, такие люди, как Добролюбов и Помяловский.

С проникновением педагога-художника Помяловский следит за процессом превращения способного мальчика Карася в «вечный нуль» (прозвище), объясняя все это отвращением к долбежной науке.

Помяловский не скрывает теневых сторон характера Карася, порожденных бурсой. Он обосновывает те импульсы, которые приводят Карася к скандалу ради скандала, к провоцированию того или иного ненавистного учителя на порку «на воздушных». «Жажда быть выпоротым» и сопутствующее ей дикое озлобление становятся манией Карася... Объясняя эта переживания Карася, Помяловский вскрывает всю патологическую систему варварской педагогики бурсы.

Остро и волнующе рисует Помяловский невыносимую тоску, охватывающую Карася, когда он бросается, рыдая, в кровать, покрывая голову подушкой. Эти детские печали были глубоки и сильны до такой степени, что их «человек не может простить и тогда, когда станет взрослым».

Не только печаль и страдание, но и ненависть глубоко проникают в душу Карася: «Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злобы и мести». «Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы

ненавидеть в зрелых годах».

Несомненно, здесь Помяловский объясняет и свою личную ненависть к «подчищенному человечеству», вызванную теми эмоциями, которые породила в нем бурса. Оттого, впоследствии, в 1863 году, в период наступавшей реакции, убедившись, что «в жизни та же бурса», Помяловский вновь стал остро переживать ту же тоску и апатию, какие столь мучили бурсака Карася.

В характере Карася Помяловский показывает те черты, которые делают его восприимчивым к правдоискательству, к заступничеству за угнетенных, к усвоению своим умом всего, что непохоже на «казенную науку», «долбню» и т. д.

И в таком направлении развиваются духовные интересы Карася.

Как бы то ни было, но по этому очерку о Карасе можно судить, во-первых, в каком аспекте Помяловский дал бы своего современника, освобождающегося от бурсацкого варварства. Этот «современник» был бы, конечно, представителем «цвета бурсацкого юношества», уже в семинарии приобщавшегося к передовым идеям своего времени.

Он был бы показан в период брожения идей и возникновения в его душе «столбовых вопросов», увлечений литературой, влияния на него запрещенной книги Фейербаха, расставания со всякими мистическими и метафизическими категориями и вступления на путь «честного отрицания».

Нужно думать, что таков был сюжет задуманных, но не осуществленных очерков.

Необходимость создания такого произведения признавал А. П. Чехов.

«Что писатели дворяне брали у природы даром, — писал Чехов в одном из своих писем, — то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего, ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливают из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая».

Таков был бы путь Карася к Фейербаху и честному «трудовому» атеизму — именно такой сюжет завершил бы «Очерки бурсы».

Не обличительный очерк, а жанр автобиографической повести, нашедшей потом свою замечательную форму у Горького, заложен был в основу «Очерков» Помяловского о бурсе. Тут надо помнить, что Помяловский, как и Добролюбов, всегда с некоторой иронией говорит о ходком тогдашнем обличительном очерке (Череванин саркастически осмеивает очерк как простую судебную тяжбу).

Художественный очерк, в отличие от обличительного, отмечен серьезной познавательностью действительности и художественным воспроизведением жизни. Элементы такого художественного очерка входят и в «Мещанское счастье» и в «Молотова» и др. Вспомним хотя бы страницы «Молотова», посвященные институту, где учится Надя Дорогова. Сочетание такого очеркового материала с чисто повествовательным жанром — основа нового революционного демократического романа 60-х годов. Художественный очерк 60-х годов отличается показом социально-бытовых укладов через конкретные характеры, через определенную галерею типов.

Всего этого, конечно, не было в обличительном очерке. И до Помяловского в 50-х годах появлялись книги очерков, рисовавших мрачными красками порядки в духовных учебных заведениях. Такова была анонимная книга священника Беллюстина «Описание сельского духовенства» (изд. за границей), которую, кстати сказать, защищал Н. А. Добролюбов. Таковы были книги проф. Д. И. Ростиславова (изд. в Лейпциге), также изобличавшие порядки этих «вертоградов науки». По целеустремленности своей «Очерки бурсы» несомненно родственны работам Беллюстина, Ростиславова, Морошкина и др. Линия «Очерков» берет свое начало, конечно, у этих авторов, а не у Гоголя и Нарезного, не в их изображении бурсы (критика всегда именно у Гоголя и Нарезного ищет генезиса «очерков» Помяловского). «Очерки бурсы» тем именно и отличаются, что чисто обличительный материал своих предшественников Помяловский облек в художественный показ типов и характеров. Он создал эту незабвенную галерею бурсаков в их живой повседневности, со всеми их жуткими играми, воровством, деспотизмом. Большой художественной правдой прозвучали эти жизнеописания бурсы. Все эти Тавли, Аксютки, Гороблагодатские, с их колоритнейшим словарем — так и видны до сих пор во всех деталях. В этом смысле до Помяловского не был изображен этот «участок жизни» так правдиво, обнаженно. Оттого все последующие

попытки изображать бурсу бледнеют перед мастерством Помяловского. Бурса, как социально-педагогическое явление, связана только с именем Помяловского. Критики-педагоги недаром считают Помяловского величайшим заступником детей в русской литературе, отмечая в его творчестве обширнейшую педагогическую психологию и потрясающие картины русского педагогического безобразия. Этими глубоко правдивыми картинами уродливого воспитания, проникнутыми таким глубоко скорбным пафосом педагога и поэта детской и юношеской души, Помяловский возродил у нас традиции Диккенса. Читая у Помяловского о детях и царской школе, вспоминаешь диккенсовские страницы о Давиде Копперфильде, Домби, Оливере Твисте, Николае Никльби и о том безобразном воспитании детей, которое Диккенс бичевал в тогдашней Англии.

В ПОЛОСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ

«Не презирай меня... Я болен...»

Н. Помяловский (из письма к А. Н. Пытину)

Недолго пришлось русскому обществу 60-х годов жить в атмосфере надежд на общественные реформы. Царь Александр II и его правительство скоро открыто показали свои волчьи клыки. Тюрьмы и крепости стали заполняться уже в конце 1861 года революционным студенчеством. А в 1862 году правительство сняло с себя всякую маску и вступило на тот путь провокации и палачества, которыми романовская династия пользовалась до конца своих дней. Грандиозной провокацией того времени были знаменитые пожары, вспыхнувшие в Петербурге в мае 1862 года. В течение пяти дней выгорело несколько кварталов. Улицы были переполнены лишенными крова и пищи. Пошли толки о виновниках поджогов. Отравленная сплетня сумела создать миф о студентах, как главных поджигателях. Газеты, и не только реакционные, но даже умеренно-либеральные, подхватили эту версию. Чернь поддалась на веру, и среди нее возникали погромные настроения. Это сказалось уже 31 мая во время церемонии по поводу объявления приговора (4 года каторжных работ) на Мытной площади по делу В. А. Оберучева, бывшего офицера Измайловского полка, сотрудника «Современника» и любимца Чернышевского (Оберучев обвинялся в распространении революционных прокламаций «Великорусс»). Вокруг стоявшего на эшафоте Оберучева раздавались дикие крики и требования отрубить преступнику голову, наказать кнутом или повесить на позорном столбе вниз головою. Дошло до того, что даже такой видный либерал, как Кавелин, и тот поверил, что пожары — дело революционной группы. Поворот к реакции начался открыто. Переход из круга либералов к матерым реакционерам происходил большими группами и совершенно беззастенчиво. В стране было объявлено военное положение. Жесточайшие репрессии посыпались, как из рога изобилия. На восемь месяцев были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово», совсем прекращен «День» И. С. Аксакова, выработаны были драконовы правила о печати. Затем последовали аресты Н. Г.

Чернышевского, Д. И. Писарева и выдающегося деятеля революционной организации «Земля и Воля» Н. Серно-Соловьевича, и многих других., Закрылись воскресные школы, народные читальни, шахматный клуб и литературный фонд. В этой открыто надвинувшейся реакции позорнее всего было поведение так называемых либералов, их лакейство перед правительством, их открытая клевета на революционеров и в частности на Чернышевского. Либеральные писатели, стали застрельщиками того мерзкого похода против Чернышевского, который привел к его аресту, гражданской казни и политической его смерти.

Весной 1862 года Николай Герасимович перебрался на дачу, на Малую Охту. Там, в уединении, он обдумывал содержание своего нового романа «Брат и сестра». Здесь он набросал несколько отдельных сцен и в то же время писал продолжение «Очерков бурсы». Сохранился еще поныне дом Корепова, где жил тогда Помяловский и с ним его мать и ее семья.

Малоохтенские старожилы с гордостью поныне рассказывают, что в этот дом Корепова ездил к Помяловскому «гулять» Некрасов и др.

Теперь дом уже ветхий, и большая комната в шесть окон разделена на несколько узеньких комнатушек.

Между прочим, нынешняя хозяйка этой квартиры, отец которой дружил с Николаем Герасимовичем, рассказывает, что в «зале» Помяловский принимал только гостей; писал же он только на чердаке. В этом же письме к Полонскому, относящемся к 1862 году, где Помяловский рисует себя «помяловщиной», «новопереселившимся американцем», «финдляем», он пишет: «Ловил рыбу, поймал шесть ершей и съел их, добираюсь до голубей, что поселились на церковной колокольне».

Но решающим фактором биографии Помяловского за этот период был усилившийся его недуг.

В истории русской литературы XIX века в этом отношении нет более трагической фигуры.

Никто в русской литературе не описывает так проникновенно мук погибающих от пьянства, как это сделал Помяловский в «Брате и сестре».

В этом романе имеется много страниц, посвященных этому столь могущественному на Руси пороку, в борьбе с которым оказался сраженным такой физически и духовно-крепкий человек, как Николай Герасимович. Незабвенны страницы, посвященные здесь бессильной борьбе Частоколова (героя романа) с «зеленым змием», они облиты, несомненно, кровью сердца самого Николая Герасимовича. В этом легко убедиться, сличая эти страницы о Частоколове с авторскими лирическими отступлениями в романе, а также теми местами писем Помяловского к А. Н. Пыпину и Я. П.

Полонскому, где он рассказывает о той пропасти, в которой он очутился из-за пьянства.

«О, препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху — чтобы тебя насквозь прошло! О, святорусский народ — брось пить, — я один из бросающих. Правда, все великие люди пили (по Гервинусу), отсюда следует, что ты великий народ, народ-пьяница; Но будь трезвым великим народом!.. Великий русский народ, расшиби ты поганую посуду с поганой сивухой; наплюй в окна кабаков и в рожи их производителей! Отрезвись — и пой хоть ту же унылую песенку, какую пел до сих пор, только не спяна! Но чую, чую взбешенной душой, что это все напрасно написано: доктор не вылечит певчего. Значит, так тому и быть, на роду что ли нам написано это?.. Проклятая жизнь и проклятая ты, природа!.. Чую, что смерть идет ко мне быстрыми шагами. Итак, много ли нажил?

— О, проклятая жизнь».

Это лирическое авторское отступление писано, очевидно, Помяловским в момент «недуга», в сознании безысходности болезни, разрушившей все его огромные литературные планы.

Николай Герасимович ясно видел те губительные перспективы, которые его ожидают. Об этом он открыто говорит в своих письмах. Тщетно старались спасти его друзья, в особенности поэт Я. П. Полонский, он ухаживал всячески за Помяловским, приютил его одно время на своей квартире и всячески старался отучить его от пьянства. В трезвые минуты Помяловский — по отзывам его друзей и знакомых — был обаятельнейшей натурой. «Роковая страсть, пишет А. Ф. Пантелеев, — не всегда владела им; даже в последние годы выпадали иногда целые недели что он преодолевал ее. И тогда, — что это был за удивительный человек».

Помяловский мучительно переживал свой недуг. Он неоднократно возвращается поэтому в «Брате и сестре» к образу алкоголика, подходя все же к нему без всякой мелодраматической чувствительности, какой много, скажем, у Достоевского в изображении Мармеладова из «Преступления и наказания». И здесь Помяловский подводит прежде всего социально-психологическую базу. Именно с этой точки зрения объясняет он своё влечение к алкоголю.

«Бурса проклятая измозжила у меня эту силу воли и научила меня пить. Потом в жизни обстоятельства вышли скверные, наконец, привык... А множить еще хочется, работы впереди много, силы еще есть во мне; но они пропадут, если не остановиться вовремя... Тяжело мне. Что делать? Или, в самом деле, пропадать надо? Рыдания его усилились и перешли в конвульсивный припадок». (Н. Благовещенский).

В упомянутом нами уже письме к Я. П. Полонскому от 1862 года Помяловский относит начало алкоголизма к семилетнему своему возрасту. Любопытны эти строки:

«По выходе из бursы я столкнулся с добрыми и умными людьми. И понял всю гадость прежней жизни и угрызений совести по случаю, в котором я нисколько не виноват. Я ободрился, бросил пить, работал усердно и, наконец, довольно удачно выступил в литературе. Все улыбалось впереди, и я не думал, что придется поворотить на старую дорогу, а пришлось-таки. Этот поворот случился два года назад. В продолжение всего нынешнего года я был в состоянии полупомешанного. Характер мой изменился; прежде я пил — теперь пожираю водку, прежде отвергал религию — теперь кощунствую; не терпел деспотизма, а теперь сам деспот; не уважал сплетню, приговор кружка, а теперь — общественного мнения; острил и шутил, а теперь ругаюсь. Говорил, а теперь реву. Я дошел, наконец, до мысли о самоубийстве».

В этом письме не случайно подчеркивается усиление и развитие недуга летом 1862 года. Тогда уже обозначилась правительственная реакция (заккрытие «Современника», арест Чернышевского и т. д.). На Николая Герасимовича это подействовало особенно подавляюще, ибо избавиться от своего недуга, как мы уже знаем, он мог бы только в атмосфере общественного подъема.

В своих письмах и разговорах с друзьями по поводу своей болезни Помяловский сообщает, «про одно романтическое обстоятельство», обусловившее обострение его болезни.

«Незадолго до смерти, — рассказывает Благовещенский, — он сказал своей матери, что в это время он любил одну девушку, воспитанницу какого-то столоначальника, что сватался к ней, но столоначальник ему отказал, как семинаристу, не имевшему прочной служебной карьеры, и что оба они (девушка и столоначальник) уже умерли. Где и когда познакомился с ними — это так и осталось тайной. В упомянутом письме к Я. Полонскому Николай Герасимович приводит отрывок из своего письма, которое хотел послать, но не послал своему брату: «Я люблю одну девушку, которая подарила меня несколькими поцелуями. Но по проклятой судьбе замуж за меня выйти не может. Я любил ее пять лет, пять лет только дышал ею, молился на нее. Два года назад решено, что нам невозможно жениться. Зимой мы должны были совершенно расстаться. В это время я запил до такой смертности, что не могу остановиться. Теперь только догадался, что, чем пить, лучше броситься в Неву, и брошусь с хохотом и проклятиями. Что мне делать, когда мысли мои путаются, когда приходит в голову

прекрасный образ добрейшей, умнейшей, святейшей девушки? Одна любовь могла спасти меня. В те дни, когда оживляла меня надежда на любовь, я не пил, был весел и здоров. Но теперь даже мое железное здоровье расшаталось, моя грудь, на которую в семинарии я позволял становиться 20-летнему парню, теперь болит и стонет. Делать нечего — надо умереть, и я умру».

Намеченного в этом письме «дикого плана самоубийства» (слова Н. Г.) Помяловский не осуществил, «потому что захворал и во время болезни задумался». Такую трагическую борьбу вел с самим собою Николай Герасимович, надеясь, побороть эту «глупую жизнь», чтобы в полной мере отдаться творчеству.

Переживания своей неудачной любви Помяловский, между прочим, положил в основу рассказа о Череванине и его характере («Молотов»). Череванин тоже от неудачной любви «с горя ходил на мост, чтобы погребсти в Неве свое грешное тело, но кончил тем, что нарисовал на свою невесту карикатуру; впрочем, с тех пор он особенно коротко сошелся с Дионисом». Не случайно в речах Череванина выражены некоторые мысли о пьянстве самого Помяловского. «Отведав вина, — писал Николай Герасимович Полонскому о раннем периоде своего пьянства, — я почувствовал, что изменяется расположение духа, и с тех пор стал отвеживать все чаще и чаще». Этот период утешения в алкоголе переживает и Череванин: «Сидишь, сидишь, и такая тоска заберет — рассказывает он, — что и сам не замечаешь, как очутишься в портерной или трактирном заведении. Я уверен, что ты не смыслишь ничего в вине, а ты вообрази себе: выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она жизнь-то начнется... Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка. Думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он входит, растет и разрастается... В голове туман, в к^лови жар... петь хочется, плакать и целовать всех... Вот это не мечта, а жизнь... Я ее чувствую, едва не ощущаю руками... Понял, милый человек? И пойдут писать дубы еловые, дубы сосновые... дубы липовые»...

Если в образе Череванина воплощен период, когда в алкоголе Н. Г. находил какие-то импульсы для _ творческого подъема и успокоения тоски, то в романе «Брат и сестра» мы имеем другую картину.

Здесь пьянство берется и как личная катастрофа, и как общественное бедствие.

«БРАТ И СЕСТРА»

«У нас есть огромный слой общества, целая масса людей, живущая особенно, мало известною для так называемого образованного общества жизнью, — это бедный разряд разночинцев. Люди они или нет? Узнаемте же, что это за существа, и разоблачимте гнойную язву нашего — да, нашего общества.

Н. Помяловский.

1

Трагизм социальной деклассации — вот тема романа «Брат и сестра». В образе Череванина («Молотов») эта тема была уже намечена. Личная трагедия бессильной борьбы с пьянством, ощущение безысходности обострили интерес Помяловского к «отверженным» буржуазного общества. Он стал изучать их с необычайным усердием, пропадая по целым неделям в знаменитой Вяземской лавре, в притонах нищеты и проституции, в кабаках, грязных харчевнях и публичных домах, в отвратительных катакомбах, ведя знакомство и кутежи с преступным людом. «Вот ужо выставлю картинки напоказ нашему обществу, — говорил Николай Герасимович, — пусть полюбуются».

Сюжет романа задуман был следующий. Брат и сестра терпят неудачу на пути честной деятельности. Плебей (брат) борется с окружающим его обществом, обличая его, противопоставляя его жестоким нравам гуманные идеи; общество от него отворачивается, доводит героя до крайних пределов бедности. Такой путь проходит и сестра — гувернантка. Доведенные до «последней черты», они (брат и сестра) кончают притонами Сенной. Во второй части романа — по рассказам мемуаристов — Помяловский предполагал дать картины публичных домов, типы публичных женщин, преступных элементов. Задумана была огромная эпопея в тридцать листов. В предисловии к роману имелось в виду предупредить читателя, что если у него слабые нервы и в литературе он ищет развлечения или элегантных образов, то пусть он не читает книгу.

Не скажу, чтобы я был циник, — писал Помяловский, — но предмет, выбранный мною, циничен, часто до последнего предела».

Роман должен был отобразить правду голую, неподдельную, взятую из окружающего быта. «Вперед предупреждаю, — обращается к своему читателю Помяловский, — что я не обличитель (в этой фразе прошу не искать ничего против обличительной литературы). Дело вот в чем: можно ли человека с отшибленной смолodu головой обличить в том, что он дурак. Можно ли обличить человека, вечно пьющего, но у которого пьянство — болезнь, наследственная от отца, деда, прадеда».

В показе этих картин Помяловский преследует, прежде всего, познавательную цель.

«Будем заявлять только факты и по возможности их причину — из них всякий может делать вывод, какой кто хочет — наше дело сторона. Мы покажем вам разврат, глубокое невежество, поражающее, где не знают, что такое земля, солнце, луна, ветер и т. п. и как скоты смотрят на явления жизни и природы, покажем бедность, до того облежавшую, что потеряно и притуплено чувство страдания за нее, покажем забитость неисходную, покажем подлость и низость души, закоренелую; покажем язычество этого слоя, неведение основных начал гражданственность и т. п.

Полюбуйтесь! Тут будут даже отцы, растлевающие и продающие своих детей. Нет, кому не следует, пусть не читает моей повести»...

В этих словах перед нами своего рода литературный манифест новой эпохи, для которой значение искусства сводится к познанию новых «участков жизни», как бы непривлекательны они ни были.

Тут важно установить преемственность этого «манифеста» Помяловского со взглядами В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского с их призывами к изучению «действительности».

Уже в 1848 году Белинский с сокрушительной иронией изображает ворчунов от старой поэтики, которые не любят встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличий и хорошего тона, не любят грязи и нищенства, по их противоположности с роскошными будуарами и кабинетами. Эти фешенебельные читатели раздосадованы тем, что «не все на свете так хорошо живут, как они, что есть углы, где под лохмотьями от холода дрожит целое семейство, может быть, недавно знавшее довольство, что есть на свете люди, рождением судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зеленое вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния».

Приводя этот обзор Белинского в своих «Очерках гоголевского периода», Н. Г. Чернышевский указал что эти взгляды остаются лучшим

выражением современной ему русской критики. «В критике, — писал по этому поводу Чернышевский, — не нашлось людей, способных продолжать начатое им; но словесность, как могла, продолжала развиваться в направлении, на которое указал он. В те годы (то есть в годы Белинского. — Б. В.) завоевывали себе прочное положение в литературе его взгляды; теперь они решительно господствуют в ней».

Нетрудно увидеть преемственность между «манифестом» Помяловского и взглядами Белинского — Чернышевского и определить, в каком соответствии находится с ними вся панорама романа «Брат и сестра».

Трудно, конечно, судить, какова была композиция этого романа, во многих частях затерянного и восполняемого ныне вольным пересказом Н. А. Благовещенского.

Первая часть романа посвящена рождению и росту главного героя романа Петра Алексеевича Потесина в семье небогатого помещика, сохранившего дворянский гонор, ведшего знакомство с богатыми и знатными соседями.

Потесин наблюдает помещичий гнет, он чувствует его на себе и на своих родных. Под влиянием кривоглазой старухи няньки, ее сказок и песен, а также игр с крестьянскими детьми он полюбил народ, у него «стал складываться особый взгляд на мужика». «Он видел предрассудки и суеверия, бездельную бедность и пьянство, замкнутость и глубоко скрытое в душе ожесточение, но понимал, что первые истекают из положения мужика: ни от кого нет ему защиты, и простолюдин обращается поневоле к разным домовым и лешим, что его никто ничему не учил, И вот он потешается Милитрисой Кирбитьевной; что в вине он топит свое горе».

Приведенный отрывок о положении мужика, как и подобные моменты в других произведениях Помяловского, не оставляет сомнения, что у Помяловского сложились определенные взгляды на задачи изображения крестьянства в революционно-демократической литературе. Нетрудно видеть, что он освобождает образ крестьянина от всякой идеалистической мишуры, что не Хорь и Калиныч, не Платон Каратаев воплощают для него русское крестьянство, что материалистическое понимание действительности и реализм в творчестве никогда не покидают Помяловского.

Помяловский не успел в своем творчестве дать широкую картину тогдашней крестьянской жизни. Но Потесина он приобщил к крестьянской среде, а эта среда переделала натуру Потесина в мужичью.

Потесин попадает к петербургскому дяде, нажившему состояние

«побочными доходами». В лице этого дяди показана мораль того слоя чиновничества, у которого две совести — «сожженная» (казенная) — для службы, допускавшая нравственную возможность взяток, а другая «общечеловеческая» (прекрасный семьянин, отличный сосед, помогающий бедным, не забывающий старых товарищей и т. д.). В этой обстановке Потесин выступает обличителем. (Между прочим, в «примечании» Помяловский говорит: «надо взять во внимание обличения Щедрина и другие обличительные очерки»).

Плебей Потесин («хоть барской крови, но закал мужицкий») не мог удержаться в мире аристократии, не мог примириться даже с ее либеральной частью. Ибо у либералов — по авторской ремарке — «в жизнь, в факты, в события — их принципы не переходят. Принцип великое дело; сидя на нем верхом, можно далеко уехать — и в общественном мнении, и по службе... можно делать реформы жизни, чтобы дух ее остался прежним».

Такова Александра Ивановна Торопецкая, в лице которой, по утверждению самого Помяловского, он хотел вывести начистоту тип гончаровской Софьи Николаевны Беловодовой и тургеневской — Одинцовой.

2

Снижение высокого портрета Анны Сергеевны Одинцовой («Отцы и дети» Тургенева) совершается Помяловским по тому же методу, что и в первых романах.

О своей героине Тургенев писал, что она «многое ясно видела, многое ее занимало и ничто не удовлетворяло вполне, да она едва ли желала полного удовлетворения». Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время.

Это «равнодушие» под пером Помяловского объясняется, как «утонченный душевный разврат представительницы молодого либерализма».

Воображение тургеневской героини уносится даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда «кровь ее по-прежнему катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле»...

Помяловский и здесь ставит точки над *i*», для него все это только

«сладострастное» воображение.

Состояние своей героини Помяловский объясняет физиологически. Даже когда «тело горело от внутреннего жара, грудь дышала прерывисто, влажные глаза ласкали, губы, казалось, ждали поцелуя, и Потесин готов был ее схватить в объятия — она все-таки казалась нравственной». Сдержанность своей героини Помяловский объясняет весьма прозаически: «хотела дожидаться мужа и наслаждаться жизнью умеренною.

Она очень берегла себя»... «Это не нравственность, не натура, а сила воли». В порядке такого же «снижения» изображается и Потесин сравнительно, например, с Базаровым.

Нигилист Базаров негодует на себя, когда начинает чувствовать себя романтиком в отношении Одинцовой: «Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью — да, с нежностью остановятся на его глазах и голова его закружится и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование... Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком». Плебей Потесин не столь романтичен, как нигилист Базаров. Потесин хочет увлечь Торопецкую во что бы то ни стало:

«Потесину хотелось развратить ее, и он цинически дразнил ее воображение (сны, чтение, разговоры, поэтические сидения на дачном крыльце и действия по всем правилам естественных наук) и не мог с нею ничего поделать. Он полюбил ее за эту силу. Потесин знал уже женщин, но весь опыт его бессилен в отношении Торопецкой, которая «свежестью своей натуры» отучала его от привычного отношения к женщине. Он пережил бешеные душевные минуты, но покорился, бросил старую жизнь, стал проводить с нею время, переменил тон своих речей, дело перешло в благоговение и поклонение, стал работать и, наконец предложил ей руку».

Отказ Торопецкой на предложение Потесина продиктован был соображениями ее практичности: она знала его разгульную жизнь, помнила, как соблазнял ее, и решила, что страшно жить с таким человеком. Ее отказ — результат холодного анализа действительности.

Потесин не умирает эффектно, как Базаров. Его плебейский раздор с «подчищенным человечеством» менее романтичен, хотя и более сложен и трагичен, чем у Базарова. Он не дерется на дуэли с аристократами. Но не может в силу своего мироощущения ужиться в их обществе. И со

ступеньки на ступеньку падает на дно.

На этом пути Помяловский переоценивает не только сюжет «Отцов и детей», но также героев «Обыкновенной истории» Гончарова. Образ генерала — дяди Потесина и все этапы разрыва его с дядей, это все то же «снижение» образов и взаимоотношений героев Гончарова — Адуева-старшего и Адуева-племянника.

3

Потесин терпит поражение за поражением. И вот он в «большой квартире» огромного дома (описание этого дома затеряно) с разнообразным населением: «тут вы найдете и чиновника, и мещанина, и домашнего учителя, и хориста, и мазурика, и камелию, и отставного штабс-капитана, людей семейных и холостых, взрослых и детей, собак, кошек, мышей, клопов и тараканов. Все это знакомо между собою, связано разного рода обстоятельствами, участием в различного рода делах, общим сожитием».

Эта «большая квартира» приводит Помяловского к типам Достоевского; однако герои «Брата и сестры» освобождены от всякой мелодраматичности и специфической «достоевщины». Особенно интересны типы социальной деградации, с которыми встречается окончательно опустившийся Потесин.

Вот князь Ремнищев Епифан Андреевич, «захудалый род», тип «Идиота» — князя Мышкина. Но Помяловский своего «захудалого» князька рисует без всякого христианского ореола. «Епифан Андреевич был хил и захудал. Это была забитая личность. Выражение лица доброе, но запуганное, недоверчивое, в одиночку всегда довольное».

Помяловский имел в виду дать большую вставную повесть об этом «захудалом роде», ведя его от глубокой древности, через царствование Иоанна III, Годунова, Петра I до Николая I, когда род угас. Он хотел дать подробную историю этой деградации.

В примечаниях Помяловского виден большой «психологический материал», собранный для воспроизведения этого типа. Не смакуя, подобно Достоевскому, всякого мучительства, Помяловский подошел к этому людскому «материалу» как педагог-гуманист.

С этой точки зрения рисуется и князь Ремнищев; он «часто прислушивался ко всем звукам и явлениям своей комнаты, смотрел в жерло лежанки, наблюдая работу огня, треск полена и тление углей, играл с котятами, занимался росчерками пером на бумаге. Чай он пил не столько с

аппетитом, сколько с любовью хозяйничать, потому чайные приборы были у него чисты, в порядке — он точно играл, как маленькие дети играют, в чай. Перетирал, пересчитывал старые деньги; иногда пересчитывал, без всякой нужды, новые деньги, умел разговаривать с неодушевленными предметами, для него каждый из них имел смысл».

В лирическом обращении к этому герою Помяловский сочувственно говорит: «еще благо тебе, Епифан, что редко ты высказываешься перед людьми, а больше говоришь со столами и вещами, а то бы натерпелся ты за то, что подлый отец-деспот когда-то треснул тебя по неокрепшему твоему черепу и вышиб из тебя спасителя жизни людской — мозг из черепа... Много и в твоей жизни будет горя-злосчастья, но знай, что без горя-злосчастья и счастье не ходит по Руси».

Таким образом, и столь популярный тогда жанр повести о бедном чиновнике Помяловский имел в виду строить совсем иначе, нежели, скажем, у Достоевского.

Из типов «бедного чиновничества» весьма любопытен в этом романе отставной титулярный советник (Лебядкин), который три раза срывал по 300 рублей за то, что били его по морде, «а морду, ей-богу, и даром можно бить». Срывает этот «герой» деньги, приставая к незнакомым и доводя их до такого раздражения, что те вынуждены «бить по морде». Свидетели наготове, суд и... заработок. Гражданская палата, однако, скоро раскусила «промысел» этого шантажиста.

И автор дает такие «сопроводительные пояснения» по этому поводу. «Чем же теперь промышлять? Последний товар — физиономия — упал в цене; дошло до того, что бить стало можно эту физиономию, плевать в нее, как в плевательницу, тыкать пальцами, топтать ногами».

Среди типов «дна» особенно выпукла фигура певчего Алексея Акимовича Частоколова («снаряд о восемнадцати октавах»), человека без рода, без племени, вытасченного сейчас же после своего рождения из проруби и усыновленного каким-то мещанином.

По примечаниям этот тип должен был быть показан через дикий и самобытный язык и «существование у нас во многих кружках оригинальных слов и оборотов речи, читателю вероятно неизвестных». Тут важно подчеркнуть, что в том или ином виде дикий и самобытный язык интересует всегда Помяловского, как отражение той или иной общественной группы.

Частоколова характеризуют такие свойства: «цинизм последнего предела», «ненависть к барам, франтам, богачам», «предпочтение редьки ананасу» и т. п. Разговор певчего пронизан всякими присловиями, в роде

«поймал вошь, будет дождь», «поймал две рядом, будет с градом». «Если поплевать на ладонь, да треснуть ею хорошенько по харе, то весь румянец пропадет». Таковы и его афоризмы о бабе, «гадине женского пола», или такие фразы: «того и гляди, что экватор на брюхе лопнет» или «пью косуху, бью по уху, со всего духу, я старуху; вот калина, вот малина. Раз-два — голова, три-четыре — прицепили, пять-шесть — что же есть, семь-восемь — сено косим, девять-десять — деньги весить. Яблочко катилось вокруг огорода, кто его поднял, тот воевода, — вот и вся история»...

Подробный словарь своего героя Помяловский так разъясняет, что «всякую фразу певчий брал из событий своей жизни или из столкновения с кем-нибудь и с чем-нибудь».

Центральное место в раздумьях этого певчего занимает желудок («его желудок способен переварить что угодно»). Гастрономия его самая разнообразная: «ел воробьев, колюшек; крыс давил собственными руками». Этот тип Помяловский хотел представить в исчерпывающей полноте.

Кто-то из критиков сравнил этого певчего Частоколова с певчим Тетеревым из горьковских «Мещан». Вспоминается также и нашумевший в свое время рассказ Скитальца «Октава».

Все эти приводимые нами литературные ассоциации свидетельствуют о том, в какой степени Помяловский был новатором-зачинателем целой полосы демократической литературы. Повесть о пьяном певчем Частоколове, столь детально намеченная в романе, уже сама по себе говорит о том, как широко Помяловский распахнул ворота литературы для таких самых «последних людей».

В Частоколове показаны все перипетии алкоголизма — от «веселого охмеления», добрых шуток и ласкового обращения с маленькими детьми до плача и бешенства. Страницы о Частоколове до сих пор волнуют изображением тяжелой безысходности и личной трагедии самого Помяловского. Лирические вставки, где автор проклиная русскую землю, мать-сивуху, отражают трагические метания Помяловского и еще более усиливают впечатление.

«Частоколов пил ее (сивуху) с жадностью человека, пьющего воду в пустыне. Его здоровая грудь расхлябалась, печень расширилась, он постоянно кашлял и мокротой бурого цвета устилал пол своей невзрачной комнаты. Лицо его чернело и отливалось каким-то медноватым цветом; рука, подносящая ко рту откупной стакан, дрожала. Он потерял половину силы, голос его надтреснулся и хрипел, помутившиеся глаза слезились; он постоянно чувствовал какой-то страх, как будто не мог припомнить страшное преступление, сделанное им на днях. Череп его утомился,

«трещала черепица», как сам он выражался, память ослабела и видимо поглупел этот богатырь-циник».

Это описание болезни при всей своей натуралистичности все же проникнуто художественно-обобщающей силой глубокого трагизма. Подобные картины разбросаны по всему роману.

4

Фрагменты «Брата и сестры» дают повод полагать, что Помяловский собирал материал для огромной эпопеи, к которой по размаху ее подходило бы название бальзаковской «Человеческой комедии».

В лице Потесина и окружающих его «отверженных» намечены были зловещие картины капиталистической «колесницы Джагернаута» [7] и всех жертв декларации. Метод этого воспроизведения лежал в совершенно противоположном направлении, чем у Достоевского. Он обусловлен был социальной непримиримостью, точной познавательностью художника-материалиста. Отсюда полемическая борьба с либерально-дворянскими литературными канонами, публицистическая заостренность, очерковый реализм новых «участков жизни».

Пред нами художник-протестант, отвергающий всякое социальное «оправдание зла» и возведение его в некие метафизические категории, как у Достоевского.

Общество Помяловского раздроблено на социальные этажи; классовый антагонизм — его основная черта. В этом свете воспроизводятся все герои этого романа, их своеобразный язык, диалоги, похожие на присловия, а также и авторские описания обстановки и характеры.

Автор «Брата и сестры» никогда не выступает в объективно повествовательной роли. Он, прежде всего, горячий заступник и трибун этих «отверженных».

В романе «Брат и сестра» Помяловский выступает, как воинствующий плебей. Он сам всегда употребляет крепкие слова по адресу аристократов и либералов. По его мнению, в самом просвещенном кружке аристократов всегда «найдется несколько болванов, презирующих все, что не имеет многолетней генеалогии».

На первом месте у него всегда оправдание плебейства.

Помяловский-оптимист, однако, признает человека «вместилищем противоречий». Этим и определяются его педагогические интересы. Всякий принцип он рассматривает с точки зрения практического его

применения. С этой точки зрения он всегда нападает на либерализм, на несоответствие его слов живому делу.

В своих романах Помяловский не дал положительного героя. Все его герои, в конечном счете, только «вместилище противоречий». Положительный Молотов обрывается на «Мещанском счастье»; плебей, бунтарь Потесин погибает физически и духовно, докатываясь до теории о праве на подлость.

Эту гибель сам Потесин объясняет индивидуалистическим характером своего протеста; «Я от того не успел на честном пути, что протестовал против зла из личной к нему злости. Меня когда-то давило, вот и вышла месть, а не гражданская деятельность».

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ

*«Эх, и между литераторами есть непроходимое
дурачье, притом еще пошленькое».*

Н. Помяловский.

1

Тяжело переживал Николай Герасимович наступившую реакцию, сказавшуюся не только в репрессиях правительства, но и в омещанивании вчерашних нигилистов. Очень характерна в этом отношении переписка Помяловского с А. Н. Пыпиным, воспитанником Чернышевского и преемником последнего по «Современнику», впоследствии ставшим столпом либерального «Вестника Европы».

В одном из этих писем Помяловского к Пыпину, между прочим, находим такие строки: «Я обязуюсь вам (для «Современника». — Б. В.) представить только «Каникулы» (название задуманного романа. — Б. В.), после чего бросаю вовсе литературные занятия. Опротивела тине цензурная литература, опротивела гаже бурсацкой инструкции. Я дела хочу, не сипондряции... Не будет дела, не найду его, буду пить мертвым поем. «Брата и сестру» не дам, потому теперь же жгу роман в печи, рву все тетради этого романа. Так и знайте! Можете для оправдания перед публикой отпечатать, что Помяловский лично виноват в ненапечатании «Брата и сестры».

В другом письме к тому же Пыпину Помяловский сообщает: «Роман я не сжег и не разорвал — домашние не позволили» [\[8\]](#).

Любопытно также ответное письмо А. Н. Пыпина, где между прочим последний пишет: «Вы хотите бросать литературную деятельность? Я в этом особенной храбрости не вижу; у вас есть талант, т. е. известного рода оружие, а вы хотите бросить его и дать тягу? Что же, вы поступите на службу? Если вы так испугались Веселого (цензора. — Б. В.), ваш испуг пройдет, когда вы захотите присмотреться к делу. Волка бояться и в лес не ходить. Нет-с, люди, истинно желавшие делать дело, таких вещей не пугаются. Вы мне можете поверить: я таких людей видал и очень знаю, из

времен (первые 50-е годы), Которые были похуже теперешних» [\[9\]](#).

По либерально-горделивому ответу Пыпина и его поучительству «свысока» можно судить, в какой степени Помяловский чувствовал себя сиротливо. Разве таков был бы ответ Чернышевского или Добролюбова погибающему Помяловскому?.. Не случайно Помяловский сторонился многих тогдашних маститых литераторов. Он знал, что пути их расходятся.

Помяловскому нравилось иногда разложить коллекцию фотографических карточек и указывать на характерные черты каждого писателя — вот этот, мол, допишется скоро до статского советника, этот заговорит иначе, коли ему казенное жалование дадут, и пр.

Эта сиротливость в тогдашнем кругу литераторов гнала Помяловского, с одной стороны, к «попоищу», а с другой, — он искал себе «дела». «Бросить разве все. Стать хлебопеком, табачную лавочку открыть... Да нет, не той работы хочется мне».

Любопытен портрет Помяловского того времени, нарисованный Николаем Успенским в его книге «Из Прошлого».

«Дородная, широкоплечая фигура молодого человека лет 30, с серыми, несколько-воспаленными глазами, густыми волосами, зачесанными вверх, и с характеристичным шрамом на щеке, вследствие золотухи, даст читателю приблизительное понятие о внешнем виде нашего даровитого и преждевременно угасшего автора «Мещанского счастья», «Молотова», «Бурсы», «Брата и сестры» и пр. Однажды я услышал порывистый звон колокольчика в передней своей квартиры и разговор со служанкой:

— Здесь живет Н. В. Успенский?

— Здесь, сударь!.. А вам что угодно?

— Прежде всего, позвольте мне снять со своих сапог «водохлёбы», т. е. галоши, а потом познакомиться с вашим жильцом...

— Николай Васильевич? Рекомендуюсь: Помяловский!.. — входя в мою комнату возвестил густым басом посетитель. Я горячо обнял нашего незабвенного писателя.

— Посылай за тминной! — сказал он, садясь на диван. Тебе, брат, посчастливилось... Ты знаешь народ... а мне, кроме кладбищенства да столичной суматохи, ничего не пришлось изведать.

— Да ведь и это хорошо, Николай Герасимович, — сказал я, отдавая кухарке приказание относительно «тминной».

— Да, брат, — продолжал Николай Герасимович. — Бурса наложила на меня такие вериги принижения человеческой личности, что я никак не могу ориентироваться среди непроглядной и грозной тучи «вопросов жизни»... А в конце концов, по примеру многих своих собратий, я стал

пьянствовать тем более, что такой авторитет, как Н. А. Некрасов, уверяет каждого из своих сотрудников, что на Руси жить хорошо одному только пьяному... Вот пьянство и сделалось мне широковещательным знаменем, под которым я считаю своей обязанностью стоять и даже этим знаменем гордиться...

Николай Герасимович прошел по комнате и прогремел замечательным басом: «А жена да боится своего му-у-у-жа».

— Слушай, Успенский, — вдруг обратился ко мне с вопросом Помяловский: — ведь мы с тобой сила... Не правда ли? Давай бросим литературу! Ведь ты очень хорошо знаешь, что ее судьбами заправляют эксплуататоры, которые высасывают из нас кровь...

— Ну, а чем же мы с вами будем заниматься?

— Во-первых, откроем булочную... Это, я тебе, скажу, очень выгодно, потому тут главную роль играет припек... Затем сами будем издавать какой-нибудь дневник или газету...

В один ненастный осенний вечер я получил известие, что Николай Герасимович скончался в клинике, на Выборгской стороне. Я поторопился отдать последнее целование незабвенному собрату, труп которого покоился на красном столе, в ожидании «вскрытия», которое произвел знаменитый анатом Губер, окруженный многочисленной толпой студентов. Какие результаты обнаружило «вскрытие», мне неизвестно.

Трудно, конечно, поверить, чтобы Помяловский гордился пьянством. Мы знаем, что он не только не «гордился пьянством», но переживал его весьма трагически. Точно также, в саркастическом смысле, конечно, сказаны слова о «пекарне» и «припеке». Но все это характерно для понимания неудовлетворенности Помяловского, его одиночества в окружавшей его омещанившейся литературной среде.

Он презирал остро и открыто не только реакционных литераторов, вроде знаменитого Асочевского, редактора «Домашней беседы», но и либеральствующих соглашателей. Когда «Время», в котором печатались первые «Очерки бурсы», стало на воинственный путь против Чернышевского, Помяловский в письме к Достоевскому заявил о невозможности своего дальнейшего участия в этом журнале.

Все же творческое пламя бушевало в нем до последних дней.

В приведенном нами письме к А. Н. Пыпину Помяловский упоминает о романе «Каникулы», предназначенном для «Современника». Никаких следов этого романа не осталось. О плане этого произведения мы знаем только из рассказа Н. А. Благовещенского.

Судя по этому рассказу, в сентябре 1863 года, в самый тяжелый период

своей болезни, Помяловский впервые рассказал своему другу сцены из нового, задуманного им романа «Каникулы», или «Гражданский брак».

«Никогда еще, — вспоминает Благовещенский, — не говорил так увлекательно Помяловский, как в этот вечер. Художнически он рисовал перед нами сцену, одну за другой, и так эти сцены были у него прочувствованы и обдуманы до малейших подробностей, что если бы тогда он сел писать, то он написал бы лучшие страницы им написанного. В этом романе Помяловский задумал изобразить невинную, несколько экзальтированную девушку, которая попала в общество людей, вроде тургеневских Ситниковых и Кукшиных (роман «Отцы и дети»). Эти люди отуманили ее напыщенными фразами, не дав никакого положительного понятия о жизни, и соблазнили ее вступить в так называемый гражданский брак... Эти мнимые передовые люди прикрывали именем прогресса один грязный цинизм»;

Здесь Помяловский предполагал вывести множество побочных лиц, и в том числе опять Череванина, который найдет себе подругу жизни. Любопытно, что и в этом романе Помяловский имел в виду продолжить свою традиционную полемику с Тургеневым, собираясь дать свое освещение его типов.

«На нас клеветают, — говорил Помяловский, — и наша честь требует, чтобы с молодого поколения сняли то пятно, которое кладут на него эти лица. Всякая сила вызывает непременно множество бездарных подражателей, однако по этим бездарностям общество судит об оригиналах и приобретает недоверчивость к ним. Надо доказать им, что они не наши, что наши стремления не те. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что она — дело чести нашей».

Болезнь нарушила планы Помяловского. Более удачной оказалась другая его творческая инициатива, относящаяся к тому же периоду. Мы имеем в виду «Поречан».

«Поречане» — это литературный жанр, связанный с историей городов, вернее даже — городских окраин, пригородов, посадов и т. д. От этого жанра пойдут «нравы Растеряевой улицы» Глеба Успенского и «Городок Окуров» Горького. Сюжет «Поречан» — описание кулачного боя на Малой Охте — использовал потом также Чапыгин в «Белом ските» и М. Пришвин в «Кашеевой Цепи».

Из этнографической темы о Малой Охте и ее населении Помяловский сумел сделать большое и значительное произведение. В своей «Истории новейшей русской литературы» А. Скабичевский, отмечая этот рассказ как свидетельство крупного таланта Помяловского, писал: «Помяловский, как мы видели из его биографии, никогда не был в деревне и народа не изучал. Тем не менее такой это был могучий талант, что и в пригородных охтянах он сумел прозреть те народные черты и тот дух, какой присущ всем русским людям без исключения, и рассказ Помяловского производит на нас впечатление, как будто вы читаете какую-то былину. Таким образом, нет сомнения, что и беллетристика народного быта утратила в лице Помяловского одного из своих крупнейших представителей».

Значение «Поречан» в развитии беллетристики народного быта Скабичевский в общем оценивает верно, но, конечно, он напрасно ввел в эту характеристику «дух, какой присущ всем русским людям без исключения». В том-то и особенность этого жанра, что он воспроизводит прежде всего колорит определенной местности, что он сугубо «этнографичен» и его целеустремленность прежде всего классовая.

Точно так же не верно, что Помяловский народа не знал и об этом, якобы, свидетельствует его биография. Мы, наоборот, знаем, что детство он провел именно «среди народа», в его гуще.

Жители Малой Охты не так уже далеки были от «народа».

Хотя у малоохтенцев-поречан были черты, отличавшие их от обычных «селян», мастерство «Поречан» и заключается в воспроизведении этих отличий, в показе процесса формирования этих своеобразных черт, проистекавших от непосредственной близости поречан с городом.

Из биографии Помяловского известно, что «Поречане» писались в 1863 году в селе Ивановском (в 30 верстах от Петербурга), где он провел лето в крестьянской избе со своим братом Владимиром и студентом-медиком Дьяконовым, увезшим в деревню Николая Герасимовича, желая изъять писателя из «сферы пьянства».

Фон «Поречан» воспроизведен Помяловским с большим мастерством. Здесь дана история Малой Поречны, начиная с Петра Великого, показаны социально-бытовые условия, формировавшие характер поречанина, его верования. Он дает экзотический облик поречанской женщины, ее своеобразную эмансипацию. Все это Помяловский выявляет через короткий, но сплошной диалог, пронизанный словесным своеобразием этих впервые вводимых в литературу социальных слоев.

В «Поречанах» мы имеем замечательное описание «типичного красноречия» Малой Поречни. «Это не было, — повествует автор, —

красноречие риторическое, стелющееся длинными периодами, не было красноречие семинарское, удобренное славянскими цитатами; это было красноречие чисто туземное, оригинальное и своеобразное. Оно состояло в умении подбирать хорошие слова, вроде — салон, пеперимент, пришпект и т. д.».

Действие «Поречан» открывается у «отечественного парламента», т. е. кабака, по случаю праздничной обедни. Описание правил и традиций старинной славянской игры, называемой боем, сделал Помяловский виртуозно. Это замечательная массовая сцена.

Перед нами подробная история боев и всего их театрального окружения, создаваемого приездом богатых купцов и военных, всячески поощрявших бойцов денежными подарками.

Этот неоконченный рассказ замечателен своими бытовыми картинами: показ кладбища и церкви в праздничный день, семейного уклада главного бойца Огородникова и всего общественного строя Поречны.

В «Поречанах» Помяловский действительно является одним из зачинателей художественных произведений о народе.

«Поречане» были напечатаны уже месяц спустя после смерти Помяловского в журнале «Русское слово».

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

1

Особенно тягостен для Помяловского был 1863 год. Неделями Николай Герасимович пропадал в каких-то трущобах на Сенной, где вначале стал бывать для изучения типов «отверженных», среди которых скоро нашел себе приятелей и собутыльников. Он искал здесь забвения от общественной реакции, от тоски по загубленным идейным соратникам (Чернышевскому и др.). Но в минуту трезвости Помяловский полностью сознавал, куда он попал, какая страшная тина его засасывает. Его письма к братьям и друзьям звучат мольбами о спасении. Так, в одном из писем к брату Владимиру он пишет: «Володя, я сильно пью! Возьми меня!.. Если ты не согласишься на этих днях отобрать от меня деньги, я пропью свою душу. Я хвораю уже... Мочи нет и жить, братец, тяжело; хочется хоть в водке забыться, хотя и понимаю, что это не дело. Володя, спаси меня! Иначе, клянусь честью, я погибну!..» Брату его приходилось ездить разыскивать Николая Герасимовича в ужасных трущобах. Продолжал принимать в нем большое участие поэт Я. П. Полонский, приютив больного Николая Герасимовича у себя на квартире. Тоске и страданиям Помяловского не было границ. Известно, что после закрытия «Современника» и ареста Чернышевского, Николай Герасимович покушался на самоубийство. Торжествующая общественная реакция выводила его из равновесия...

— Проклятые, — негодуяще говорил он: — как я вас ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшие мои надежды!..

Страдания Николая Герасимовича были до того сильны, что он все время боялся сойти с ума и просил друзей убить его, если случится такая беда. Силы иссякали. Болезнь обострялась. Появлялись частые припадки белой горячки, сопровождавшиеся кошмарными галлюцинациями...

Вот что рассказывает мемуарист Федор Бер, встречавший Помяловского на четвергах у Достоевских незадолго до его смерти:

«Он ходил по комнатам бодрый и веселый, смеялся, рассказывал что-то. Его возбужденное состояние, к которому все привыкли, и неверная походка не обращали на себя особенного внимания. Я заметил только, что он постоянно подходил к окну, наливал воду из большого графина и пил

стакан за стаканом. Я думал, что отпивается от похмелья, но оказалось, что графин был с водкой, приготовленной к ужину. За ужином было много народа. Особенно ничего не было заметно, но вдруг он как-то странно захрипел, глаза его закатились, стул под его тяжестью разлетелся, и он во весь рост, к ужасу присутствующих, без чувства растянулся на полу. Все бросились к нему, особенно любившие его Н. Н. Страхов и Разин взялись отвезти Помяловского домой, но он не приходил в чувство».

Картина угасания Помяловского, болевшего белой горячкой в клинике Боткина весной 1863 года, — потрясающая. Вот как рассказывает об этом А. П. Аристов со слов известного историка А. П. Щапова.

«Помяловскому являлся дедушка с книгой в руках, окруженный всеми знакомыми, и укорял громче и громче о его худых поступках, начиная с самого детства, то вдруг разверзлся перед ним ад, и там представлялись страшные картины и мучения грешников, куда влекли и его демоны. Он в ужасе становился на колени или бежал и кричал, умоляя чтобы разубедили его, что это не действительность, а призрак... Ты плюнь на все, — твердил с улыбкой Щапов, — это представление и больше ничего. Ты послушай-ка, я вот прочту тебе из рукописи забавную легенду «о привидениях».

Эта сцена сильно напоминает терзания больного Глеба Успенского, его галлюцинации о «святом Глебе» и «свинье Иваныче». Оба эти писателя стали жертвой жестокой русской действительности, которая легла тяжким бременем на их болезненно чуткие артистические натуры.

В начале октября 1863 года у Помяловского обнаружилась на ноге какая-то опухоль, и Николай Герасимович в бане поставил себе десять пиявок к больному месту.

Но скоро образовался нарыв. 3 октября Помяловского насильно свезли в клинику, где на следующий день профессор Наранович вскрыл нарыв и констатировал антонов огонь.

Николай Герасимович отдавал себе ясный отчет в предстоящей скорой кончине, но сохранил полное спокойствие.

Ночью он впал в беспамятство и не очнулся уже до самой смерти.

5 октября 1863 года в 2 часа 25 минут пополудни — на двадцать девятом году жизни, Помяловского не стало.

9 октября множество народа собралось проводить останки Николая Герасимовича. В церковь 2-го сухопутного госпиталя, где находилось тело,

невозможно было пробраться. Большая толпа теснилась в церковных дверях и, окружив простые дроги, запряженные парой лошадей, ожидала выноса тела из церкви. В церкви, в простом желтом, крашеном гробу, лежал покойный. В числе пришедших отдать ему последний долг можно было увидеть тогдашних писателей, членов почти всех редакций, было много женщин.

Многие из присутствующих плакали. Не допустили поставить гроб на дроги и понесли усопшего на руках. И потянулась за гробом длинная, длинная толпа... Не было тут видно сановитых лиц, мало было и карет, невидима была полиция. Провожавшие были такие же, как сам покойный, разночинцы, ничего не имеющие, кроме рук да головы. Они крепко любили его произведения и понимали его страдальческую жизнь. Много было учащейся молодежи — студентов медицинской академии, семинаристов, школьников... и наперебой старалась эта пестрая, с виду незатейливая толпа проявить последнюю привязанность к покойному — подержаться за скобку его гроба. А гроб несли попеременно до самой могилы, несмотря на отдаленность МалоОхтенского кладбища. Неутомимо провожали и несли гроб не только друзья, но и все, знавшие покойного писателя только по его художественным произведениям.

У матери Помяловского не было денег на похороны сына. Она сообщила об этом Некрасову, который, исхлопотал у литературного фонда необходимую для этого сумму.

На могиле одним из провожавших была произнесена такая речь: «Честный писатель! Ты писал немного и написал немного, но писал правду, писал с сердечной болью о нашей узкой доле, о том, как под гнилыми общественными условиями мрут лучшие человеческие силы... Темное кладбище стало мучить тебя — и ты погиб. И если бы ты мог свидеться, теперь с Полежаевым, Белинским, Шевченко, Добролюбовым или с кем-нибудь из наших погибших лучших людей, мы просили бы тебя сказать им, что у нас по-прежнему гибнут лучшие люди. Прощай еще одна из несбывшихся надежд нашего молодого поколения!»

В день смерти писателя поэт А. Н. Плещеев напечатал следующее стихотворение:

Что год — то новая утрата.
И гибнут силы без конца:
Еще меж нами нет собрата,
За правду честного бойца.
Подумать страшно, скольких мы

Не досчитались в эти годы.
Их всех, врагов отважных тьмы,
Сломили ранние невзгоды.
И вот над свежей могилой
Нас дума тяжкая гнетет:
Ужели та же участь ждет
Все возникающие силы?

Должен быть отмечен также некролог, посвященный памяти Помяловского одним из бурсаков (в «СПБ Ведомостях», 1863, № 227). Автор говорит о меткой наблюдательности Помяловского, особой оригинальности и типичности его характеров, художественности их изображения и о глубине идеи, прямо выхваченной из действительности. Особенно подчеркивает бурсак реалистическую силу «Очерков бурсы»; в их «беспоощадно спокойной правдивости заключается их сила». «Ужели, — писал бурсак, — и эта свежая могила, в которую сходит загубленная бурсою великая сила, не пробудит энергии или чувства?.. Но как бы то ни было, страдальцы бурсы навсегда сохранят честное, правдивое слово Помяловского и никогда не забудут, что благодаря ему не погибла для нашей общественной истории правдивая повесть их страданий. А история найдет виноватых». Большое литературное значение Помяловского было отмечено во всей печати.

Неподдельную скорбь вызвала у всех смерть Помяловского. Характерно в этом отношении письмо Н. В. Шелгунова, написанное из ссылки жене от 18 декабря 1863 года: «Кстати, о смерти, — пишет Н. В. — Ты мне не говорила ничего, что умер Помяловский. Я не знаю этого человека, т. е. не был с ним знаком и видел его только несколько раз. Но известие о его смерти так поразило меня, как будто бы я лишился самого близкого друга. Скажу тебе по секрету, что меня, как говорят, прошибло. Боже, боже, — мало у нас и так даровитых и способных людей, да и те не живут у нас долго!.. В эти два года уже сколько вышло подобных даровитых личностей. Бедная литература! И почему из литераторов должны выбывать только способные люди, а всякая дрянь, бездарность благоденствует и заносится, подобно каким-нибудь Скорятиным и Мельниковым? Грустно!..»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Знаете ли вы, что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотреть в свою душу не подличая, а если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя. О, это тяжелое дело. Кто надувает себя, тот всегда спокоен; но я не хочу вашего спокойствия...»

Н. Помяловский («Молотов»).

1

Всего около трех лет длилась писательская деятельность Н. Г. Помяловского. Огромные замыслы этого писателя-новатора не успели реализоваться; в его наследии поэтому преобладают неоконченные произведения. И все же эта замечательная писательская фигура стоит не только в центре такой бурной литературной эпохи, как 60-е годы, но является основоположной для всей русской революционно-демократической литературы конца XIX и начала XX века. По силе своего таланта и по времени своего появления в литературе Помяловский стоит впереди всей современной ему школы разночинцев (Николай Успенский, Ф. М. Решетников, В. А. Слепцов и др.).

Помяловский принес с собой в литературу необычайную биографию свою и своих сверстников, которых ломали в бурсе, гнули в Академии и которым, по выражению А. П. Григорьева, история приказала «гнуть жизнь».

Не тому приходится удивляться, что Помяловский стал жертвой тогдашней действительности, ее грубости и дикости. Надо удивляться, как из своей жестокой бурсы он вынес столько свежего дарования, наблюдательности и знания жизни.

Сила Помяловского заключается в органичности его творчества, в его настойчивом искании литературных форм, соответствующих новой эпохе и ее новым героям.

Недаром он так пытливно исследовал все возможности, которые

открывались для новой демократической литературы. Строя планы по организации писательской среды, он весь был в заботах о новом типе писателя, о новых формах коллективной литературной работы.

Кто-то из историков литературы называет его писателем-оптимистом. Действительно, страницы Помяловского внушают бодрость и жизнерадостность даже тогда, когда он рисует в них мрачный быт семьи и школы.

Мы уже знаем, откуда принес с собою эти новые творческие силы Помяловский. Прежде всего тут сказалась удивительная эпоха первого сознательного пробуждения демократических слоев русского общества. Познание жизни для общественной практики — таков девиз литературно-общественного движения 60-х годов, легший в основу тогдашней литературной критики и художественной литературы.

Помяловский первый из писателей-шестидесятников внес в художественную литературу колоритную биографию разночинца. «Очерки бурсы», «Молотов», «Мещанское счастье» и др. — это куски жизни, удивительные отрезки новой социальной биографии.

В этом смысле все творчество Помяловского — своего рода автобиографические рассказы.

2

Н. Г. Помяловский не оставил по себе ни литературных воспоминаний, ни статей по искусству, ни отдельных характеристик современных ему писателей.

В его переписке, большей частью затерянной, также не нашли себе выражения его литературные воззрения. И все же можно и должно говорить об особой системе эстетических взглядов Помяловского, характерных для новой литературной эпохи 60-х годов. В борьбу за эту новую систему Помяловский шел рука об руку прежде всего с вождями своего поколения — с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым.

На этом пути Помяловским отодвинуты были все эстетические традиции тургеневской школы. В основу своего художественного метода Помяловский кладет взгляды Фейербаха, его идею о единстве человеческого организма, исключаящую всякий дуализм, идею родственности человеческого организма с животными и растительными организмами.

Основные положения Чернышевского из его «Антропологического

принципа в философии» о человеке как продукте окружающей среды, общественных привычек и обстоятельств нашли также свое выражение в эстетике Помяловского и стали основным мотивом его творчества.

Девиз Добролюбова и Чернышевского о познании действительности как основе художественного творчества обусловил всю переоценку эстетических канонов дворянской литературы, на которую так решительно пошел Помяловский. Надо показать действительность так, как она есть, без всяких прикрас, не боясь «тьмы низких истин», — таков основной пункт художественной пропаганды Помяловского. Надо расширить до предельного все сферы «действительности». Мир подвалов, кабаков и ночлежек, проституток, пьяниц — имеет право быть объектом художественной литературы.

Пора литературе выйти из замкнутой среды «подчищенного человечества». Противопоставление «подчищенному человечеству», т. е. дворянину, плебея, человека социальных низов — один из центральных мотивов творчества Помяловского. Оттого Помяловский ратует всегда за реализм, или, как он говорит, «точность картин».

Вот именно «точность картин» неизвестного дотоле быта, неподкрашенная правда о «людях нового круга» — вот основы того художественного реализма, за который боролся Помяловский.

Сохранившиеся отрывки романа «Брат и сестра» в этом отношении очень показательны. Ибо здесь технология Помяловского-романиста широко показана самим автором. Перед нами своего рода «записные книжки», в которых писатель посвящает нас в свою лабораторную работу по привлечению людского «материала», изучению темы, отбору языка и композиционному оформлению произведения.

Язык Помяловского точен и свободен от всякой метафоричности, от всяких романтических эпитетов. Он свеж и народен.

Так, Помяловский, ломая основные каноны «барской эстетики», видоизменяет ее пейзажи, портреты, вводит новые биографии, отодвигая панорамы золотисто-пышных аллей для изображения столичных окраин, словарем которых он заменяет салонную речь дворянских героев и героинь.

Авторская активность, публицистическое вмешательство сопровождают у него чисто художественные картины. Эта вольность втягивает автора в ход повествования едкой полемикой с тем или иным героем, в беседу с читателем, в желчное изобличение и т. д. Помяловский вводил в свой роман и очерковый материал, также перемежая его публицистическими рассуждениями. Это становится одним из свойств его стиля.

Мастерство очерка занимает вообще большое место в творчестве Помяловского. В истории нашей очерковой литературы «Очерки бурсы» занимают исключительное место. До сих пор эти очерки волнуют нас своей яркостью и правдивостью. Он сумел здесь дать обобщение всей педагогической системы царского самодержавия. Педагог по призванию, Помяловский в центре своего творчества всегда ставил остро и оригинально проблемы воспитания. Начиная с своего «Вукола», Помяловский не переставал сочетать в своем творчестве художественные интересы с чисто педагогическими проблемами. Оттого педагогическая критика характеризует Помяловского, как величайшего в русской литературе заступника детей, сравнивая его роль в этом отношении, как мы уже отмечали, с Диккенсом.

Помяловский не успел создать образ профессионального революционера и передовой женщины той эпохи, хотя и известно его твердое намерение изобразить их в последней части трилогии (после «Мещанского счастья» и «Молотова»).

Таким образом, с именем Николая Герасимовича Помяловского в истории русской художественной литературы XIX века открывается поучительнейшая для нас глава о литературной эпохе, полной смелых переоценок и решительных исканий. Мы видели, что творчество Помяловского ознаменовалось новыми образами, новым словарем, новыми жанрами. Оно предвещало новый классовый стиль. Творчество Помяловского — интереснейший памятник литературно-общественных исканий эпохи, отмеченной приходом новых классов, сложной социальной дифференциацией, решительной ревизией всех установившихся идеологических норм.

Зачинателем нового литературного стиля этой эпохи был Помяловский так же, как Чернышевский был ее идейным обоснователем в области критики и публицистики.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Ранняя и трагическая смерть Николая Герасимовича усугубила интерес к его творчеству. Сейчас же после его смерти стали печататься в разных журналах его неопубликованные и неоконченные произведения. В 10-й книге «Современника» 1863 года появляется отрывок из романа «Брат и сестра» под названием «Андрей Федорович Чебанов». В том же году в 10-й книге «Русского слова» помещены были «Поречане». Затем в 11-й книге «Современника» (1863) пятый очерк — «Переходное время бурсы». В 1864 году в 5-й книге «Современника» помещены «Махилов» и «Брат и сестра». В 1865 году выпущены отдельным изданием: «Повести, рассказы и очерки», с портретом и биографией автора. Через три года вышло 2-е издание. С тех пор собрание сочинений Н. Г. Помяловского выходило несколькими изданиями вплоть до 1913 года, когда общественность широко отметила пятидесятилетие со дня смерти писателя и когда прекращено было право собственности на его произведения. Тогда сразу вышло несколько изданий.

Пятидесятилетие со дня смерти Помяловского породило большую юбилейную литературу; газеты и журналы помещали статьи видных тогдашних критиков о его творческом значении. В свете начавшегося тогда — после столыпинской реакции — литературного подъема реалистической литературы критика устанавливала связь писателей-реалистов 1910 года с писателями-шестидесятниками и в первую очередь с Н. Г. Помяловским.

Значение Помяловского как основоположника новой реалистической и демократической литературы подчеркивалось критиками 1913 года. Преемниками Помяловского назывались Левитов, Слепцов, Решетников и Глеб Успенский, и критики этой эпохи нового подъема, устанавливая творческую преемственность Помяловского, констатировали, что его школа глубоко выросла в толщу демократических слоев страны и питает «молодые побеги» реалистической литературы. Пятидесятилетний юбилей Помяловского является в этом отношении, в установлении преемственности между Помяловским и новым периодом реалистической литературы кануна мировой войны, — некоторой вехой в критической литературе о Помяловском. Но и до 1913 года имя Помяловского не было обойдено в критике. Мы уже говорили о блестящих статьях Д. И. Писарева — «Роман кисейной девушки» (1865) и «Погибшие и погибающие» (Об «Очерках бурсы», 1868), — в которых Помяловский так ярко изображен как

лучший выразитель плебейско-демократического гуманизма. Признал талант Помяловского, правда с разными оговорками, ближайший друг и единомышленник Тургенева П. В. Анненков. С одной стороны, он констатирует «природную силу» Помяловского, то мужественное, энергическое и самоуверенное начало, которым пронизаны художественные приемы автора «Молотова» и «Очерков бursы». Но вместе с тем, по Анненкову, типы Помяловского не имеют рельефа, выпуклости и лишены свойств живого организма. Для этого критического этюда Анненкова характерно такое его утверждение: «Фигуры г. Помяловского расписаны, можно сказать, великолепно; кисть его занималась этим делом с любовью и обнаружила много замечательных соображений, много ловкости и даже силы изобретения, но со всем тем Молотов и его скептический друг Череванин не наделены жизнью и остаются неподвижными фигурами, что бы с ними ни делал живописец. В этой критической статье Анненкова центральное место занимает тот самый вопрос об «уме» и «наивности» (по Анненкову — «понятии»), который является объектом приведенного нами полемического письма Тургенева к Фету. Мы видели, что Тургенев защищал «ум» в творчестве Помяловского с известными оговорками. Такой позиции держался и Анненков. «Понятия, — говорит Анненков, — могут быть положены в основание замечательных произведений изящной литературы, если творчески воплощены в образы, а не просто олицетворены, как у нашего автора». Таков был подход критиков тургеневской школы к жанру публицистического романа, в составе которого «понятия», т. е. авторская публицистика, занимали первостепенное место. Точно так же подошел к Помяловскому и другой критик, П. Бибилов: «Что талант есть у него (у Помяловского), — писал Бибилов, — это несомненно, это ясно показывают и тонкая наблюдательность, и привычка к психологическому анализу, и глубокое знание среды, где поставлены его лица, и необыкновенная оригинальность рассказа и, наконец, действительная художественная обрисовка некоторых лиц». И Бибилов также отмечает в плане отрицательных сторон творчества Помяловского: 1) отсутствие движения в повести, 2) неумеренную страсть к описаниям и рассказам о действующих лицах от автора.

Выделить основное значение первых повестей Помяловского, как видим» ни Анненков, ни Бибилов не сумели по чисто формалистическим своим принципам. Только после смерти Помяловского начинается вскрытие этого «основного значения» у Писарева и отчасти у Пыпина. Статья Пыпина была направлена против той «отвлеченной эстетики», которая преобладает в суждениях Анненкова и Бибилова. Тенденция — по Пыпину

— нисколько не повредила творчеству Помяловского. Критик иначе подходит к Молотову, — как к «лицу довольно новому в наших романах». Он приветствует Помяловского за отсутствие в его герое всякой идеализации, за реалистическое изображение. Ибо творчество Помяловского не знает ни идиллий, сочиненных на французский лад, ни психологических утонченностей там, где жизнь рубит с плеча, ни гнилого идеальничанья. Оттого для Пыпина Помяловский — писатель новой жизни. И критик, рекомендуя творчество Помяловского, противопоставляет его «современной ему деморализованной беллетристике», как чтение здоровое, поэтическое и разумное. Значение творчества Помяловского было поднято на большую высоту Н. Г. Чернышевским, оплакивавшим смерть Помяловского, как гибель писателя гоголевской и лермонтовской силы.

В предисловии к своему роману «Что делать» Чернышевский говорит о себе, как о литературном продолжателе Помяловского, подчеркивая, что его, Чернышевского, роман слаб, сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, с «Мещанским счастьем» и с «Молотовым» и с маленькими пьесками Н. Успенского. Наши советские исследователи-литературоведы также устанавливают преемственность романа «Что делать» от произведений Помяловского; о влиянии творчества Помяловского на произведения Решетникова имеется много личных признаний самого автора «Подлиповцев», который, кстати сказать, очень дружил с братом Н. Г. — Владимиром Герасимовичем. Мы уже говорили о влиянии Помяловского на В. А. Слепцова.

Весьма своеобразен отзыв Антона Павловича Чехова о Помяловском. В письме к писателю 90-х годов Ивану Щеглову Чехов, устанавливает родство последнего с Помяловским — оба, «мол, мещанские писатели». «Называю вас «мещанским писателем», — объясняет Чехов Щеглову, — не потому, что во всех ваших книгах сквозит чисто мещанская ненависть к адъютантам и журфиксным людям, а потому, что вы, как и Помяловский, тяготеете к идеализации серенькой мещанской среды и ее счастья».

В этот отзыв Чехова нужно внести поправку. Ибо на самом деле родство с Помяловским должно быть скорее отнесено к самому Чехову, если заменить слово «идеализация» словом «протест». Помяловский, как и Чехов, совершенно далек был от идеализации серенькой мещанской среды, оба они — Помяловский и Чехов — были главным образом сатириками мещанства. Оба эти писателя не случайно весьма часто любят подчеркивать свое плебейство. Для них обоих поэтому обычны ревизия и переоценка всех литературных канонов дворянской литературы. Чехова роднит с

Помяловским также некоторая общность их художественных приемов — стремление к максимальной простоте и естественности повествования, несложная экспозиция и отказ от всякого декоративного пейзажа. Недаром А. М. Горький всегда характеризовал Помяловского как предтечу Чехова.

Обстоятельные критические статьи в разных журналах («Библиотека для чтения», 1863, № 4 и 9, а также «Русская мысль», 1888, № 9 и 10) принадлежат также известному педагогу-критику Виктору Острогорскому, всегда с энтузиазмом пропагандирующему значение Помяловского как писателя-демократа и педагога. С 1863 года имя Помяловского усиленно упоминается как в мемуарной литературе, так и в критике. В 1895 году вокруг имени Помяловского выросла большая газетно-журнальная литература в связи с обвинением В. Крестовского, автора «Петербургских трущоб», в плагиате. Были слухи, что Помяловский за бесценок, в состоянии «недуга», продал Крестовскому черновую рукопись «Брат и сестра», которую Крестовский и использовал в «Петербургских трущобах». В 1913 году критик А. А. Измайлов вновь выдвинул это обвинение против Крестовского. Сын Крестовского привлек Измайлова к третейскому суду; суд не установил плагиата.

*

Дюоктябрьская критическая литература о Помяловском отмечена разрозненностью и эскизностью. Тут любопытно отметить, что отрицания таланта Помяловского мы не встречаем даже у таких оголтелых критиков, как некий Incognito (Е. Зорин) («Отечественные записки», 1865, апрель и май), епископ Никанор и др. Некоторые историки литературы умеренно-правого лагеря, как К. Головин и Н. Энгельгардт, характеризуя Помяловского как наиболее выдающегося представителя 60-х годов и подчеркивая в его произведениях правдивость изображения, в то же время всячески стараются выхолостить боевую направленность его творчества.

Головин в своей книге «Русский роман и русское общество», отзываясь о Помяловском, как о самом правдивом и наименее шаблонном из писателей эпохи «бури и натиска», писал: «О радикальном направлении Помяловского мы знали скорее из биографических сведений о нем, чем из его произведений».

К. Головину вторит и Н. Энгельгардт. Хваля романы Помяловского, он считает, что в них образ нового человека правдивее «всех изображений подобного рода». Эти попытки направлены на то, чтобы вытравить из

творчества Помяловского революционные тенденции 60-х годов. Между тем вне этих революционных тенденций творчество Помяловского было бы только привеском к дворянской литературе. Мы же видим, что вся творческая целеустремленность Помяловского упирается в борьбу с социальными тенденциями дворянской литературы, с ее основными эстетическими канонами.

Помяловский прежде всего новатор, создатель нового литературного стиля. Не случайно имя Н. Г. Помяловского в конце 90-х и в начале 900-х годов часто упоминается в связи с появлением Максима Горького. Так, например, критик «Русской мысли» (1898, июль), характеризуя талант Горького как автора «Вареньки Олесовой», видит истоки этого горьковского рассказа у Помяловского.

«Мы, — пишет этот критик, — не раз по поводу г. Горького вспоминали о Помяловском, вспомнили о нем и на этот раз». И критик указывает на сходство полковника Олесова с полковником из «Брата и сестры». С героиней этого романа, Александрой Васильевной Торопецкой, критик находит сходство у героини горьковского рассказа, сестры профессора, Елизаветы Сергеевны. Критик подчеркивает непреодолимое желание обоих писателей вскрыть и анатомировать «этот чудный цветок искусственной барской культуры».

Эту беглую и довольно поверхностную параллель критика «Русской мысли» пытался углубить Вл. Новоселов («Новый мир», 1903, № 67) в статье «Босяки в русской литературе». Новоселов констатирует, что тип босняка берет свое начало в творчестве Помяловского в героях «Брата и сестры». Протестующий босняк Горького — по Новоселову — имеет свой прототип в певчем Частоколове и Череванине. «Правда, — пишет Новоселов, — герои Помяловского еще разночинцы, герои Горького уже вышли из того класса, который, когда писался роман Помяловского, не жил еще сознательной жизнью. Это была масса, задавленная крепостничеством». По реалистическим бороздам и межам, проложенным Помяловским, идет творчество Горького, — таков вывод критиков тех лет. В 1903 году литературная параллель между Помяловским и Горьким проведена была в специальной брошюре под названием «Помяловский и Горький» («Н. Г. Помяловский и Горький», критическая параллель, изд. «Наука и жизнь», 1903, стр. 15). Общие выводы автора этого этюда, как и других критиков, таковы:

1. Помяловского и Горького объединяет страстное чувство протеста против классового общества. 2. Подлинный гуманизм плебеев-пролетариев — стержень обоих этих писателей, глубоко задетых страданиями и

классовым гнетом. 3. Помяловский и Горький резко порвали со «спокойным» искусством и стали художниками-публицистами, писателями революционного протеста, 4. Ибо обоим ненавистно мещанство с пошлым самодовольством, осторожностью и страхом. 5. Оба писателя мощно, резко умеют ставить вопросы жизни. Ибо они беспощадные реалисты, наделенные огромным чувством типического и характерного.

Все наблюдения и выводы этой критики не отличались, однако, большой глубиной. Поверхностные и беглые аналогии лежат в основе их суждений. Ибо даже в пору появления М. Горького нельзя было ограничиться голыми аналогиями. Творчество зачинателя пролетарской литературы — это прежде всего новый литературный этап, мощное выражение нового Революционного класса. Теперь, когда творческий путь А. М. Горького завершен, советское литературоведение должно изучать родственность Горького и Помяловского в плане социалистического реализма (Горький) и его преемственность от революционно-демократического реализма (Помяловский). При изучении этой преемственности большую помощь окажут высказывания самого Горького о Помяловском.

Скоро после смерти Горького были опубликованы его заметки об учебнике по истории русской литературы, кончающиеся призывом к изучению Помяловского, как предшественника А. П. Чехова. На свою связь с Помяловским А. М. Горький указывал неоднократно. Это видно уже из отрывка Горького, взятого нами эпиграфом к настоящей книге, и из приведенной нами горьковской оценки «Очерков бursы».

В автобиографическом рассказе о казанском периоде своей жизни, говоря о своем чтении беллетристики шестидесятников и семидесятников (Н. Успенский, Решетников, Левитов, Слепцов, Воронов, Нефедов), Горький выделяет Н. Г. Помяловского. «Этот ряд, — пишет Горький, — возглавлял талантливый и суровый реалист Помяловский с его очерками бursы, из которой вышло так много литераторов, ученых, вышел и сам Помяловский и написал «Мещанское счастье», повесть, значение которой недостаточно оценено». В другом месте («О том, как я учился писать») Горький свидетельствует, что в «Молотове» и «Мещанском счастье» Помяловский показал ему «томительную бедность» мещанской жизни, «нищенство мещанского счастья». Здесь же Горький говорит о «замечательно талантливом, умном и недостаточно ценимом» Помяловском, повести которого, вместе с более поздними повестями Слепцова («Трудное время») и Осиповича-Новодворского («Записки ни павы, ни вороны»), рисуют «трагическое положение умных людей, которые

не имеют прочной опоры в жизни и живут «ни павами, ни воронами», становясь мещанами». В 1928 году, говоря о советском мещанстве и вспоминая в связи с этим Помяловского как борца против мещанства, Горький указывает на значение «Молотова» и «Мещанского счастья» для нашей современности. Об этих произведениях Помяловского Горький отзывается и в своей статье «О литературе»: «Хорошие повести Помяловского, — пишет Горький, — о том, как революционер превращается в благополучного мещанина, недооценены». Горький охотно противопоставляет героев Помяловского типам дворянской литературы. «В стороне от них (типов дворянской литературы. — Б. В.), — пишет Горький, — одиноко проходил, усмехаясь и злорадствуя, герой Помяловского, Череванин, «нигилист», рожденный в один год с Базаровым, но гораздо более «совершенный» нигилист, чем Базаров».

Но Помяловский является предметом не только многократных высказываний Горького-критика. Автор «Молотова», «Брата и сестры» и «Очерков бурсы», так сказать, вечный спутник Горького-художника. Это относится одинаково и к ранним произведениям Горького и к творчеству последнего периода его жизни. Исследователь горьковской «Жизни Клима Самгина», определяя историко-литературные корни этой эпопеи о конце российской буржуазной интеллигенции, не может не установить этих корней в романе Помяловского, в его изображении демократической интеллигенции 60-х годов. Эти корни заложены были в «Молотове». Не вникая в подробности, — это дело большой монографии, — отметим следующее. И в «Молотове» и в «Климе» основная проблема — мещанство и индивидуализм. И здесь и там пред нами страстное разоблачение индивидуализма. Тут важно отметить, что Горький, в своей эпопее ведет изображение интеллигенции по намеченным уже у Помяловского линиям. Начать с того, что в «Климе», как и в «Молотове», — основное ядро интеллигенции показывается через кружки и салоны (по Горькому, «странноприимные дома»), каждый из которых имеет свой типовой общественно-психологический облик. В изображении этих интеллигентских сборищ, в воспроизведении их идейных настроений, вернее, «нестроений», Горький прибегает к приему многослитного и репликообразного диалога, который является характерной стилиевой частью «Молотова». Взять хотя бы салон дяди Хрисанфа («Клим») и сравнить его с кружком Череванина («Молотов»), Да и общая перспектива «Молотова» — распад мелкобуржуазной интеллигенции — в сущности сюжетная основа «Клима».

«Жизнь Клима Самгина» — итоговое произведение Горького, поэтому

изучение его в свете «Молотова» несомненно может показать общие истоки этих двух писателей, как и существенные их отличия. В этих отличиях прежде всего отражено бытие революционного класса, который в эпоху Помяловского был лишь в эмбриональном состоянии. «Жизнь Клим Самгина» отличается своим революционным оптимизмом, победной уверенностью революционного класса. Но социальный протест Горького берет несомненно свое творческое начало у Помяловского, этого сурового и непримиримого реалиста, умевшего разоблачать идеологию паразитических классов, нарисовавшего потрясающую картину отверженных, — этого позорного клейма классового общества. Помяловский видел, куда ведут индивидуалистические тенденции еще молодой тогда интеллигенции. Его поиски были направлены в сторону коллективистического идеала. Но социально-экономическая отсталость тогдашней русской жизни и тяжелый недуг мешали Помяловскому продолжать свой рост в этом направлении. Но его пропаганда коллективного писательского труда, страстная публицистичность его произведений, преисполненная неугомонного социального протеста, его искание новых «участков жизни», умение вскрыть половинчатость мелкой буржуазии и, наконец, его столь проникновенный и глубоко выстраданный подлинный гуманизм — все это делает творчество Помяловского прелюдией к искусству пролетариата. Те социальные проблемы классового общества, которые, истекая кровью, пытался в свое время разрешить Помяловский, не миновали также поля зрения великого писателя пролетариата А. М. Горького. Эти проблемы легли в основу творчества Горького и подняты им на высоту, соответствующую великой революционной эпохе. Оттого образ Помяловского столь дорог был Горькому; оттого так настойчиво Горький звал изучать творческое наследие этого основоположника революционно-демократической литературы.

Вместе с А. М. Горьким и В. И. Ленин также высоко ценил творчество Помяловского. В борьбе со своими политическими противниками Ленин охотно прибегает для соответствующих аналогий к образам «Очерков бурсы» и «Мещанского счастья».

*

Советская литература отмечала 70-летие со дня смерти Н. Г. Помяловского (1933) и столетие со дня рождения (1935), выпустив ряд хороших изданий (двухтомное полное собрание сочинений изд.

«Academia», однотомник Гослитиздата, «Очерки бурсы» — Гослитиздат и «Молодая гвардия»). Появилось несколько статей о творчестве Помяловского. Однако было бы ложным самоутешением преувеличить достижения нашего литературоведения в деле изучения и архивных материалов и историко-литературных корней произведений Помяловского, а также творческой преемственности его с представителями последующей демократической литературы. На этом пути, как мы видели, встает такая огромная тема, как Помяловский и Горький, в связи с которой находится также тема о Помяловском и нашей современности, о соотношении социалистического реализма с тем революционно-демократическим реализмом, лучший выразителем которого был Николай Герасимович Помяловский.

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА ПОМЯЛОВСКОГО

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

(Конец марта, начало апреля 1862 г.)

Первый блин

Уж широкие тени на темных садах...
Средь сирени пахучей, в цветущих кустах
Стоголосый певец, наш родной соловей, —
То бывало в пору ясноглазых ночей, —
Звонкой трелью любви оглашал садик мой...
Жадно слушал певца я тогдашней порой...
Меня страстно она обнимала тогда...
Ох, вы, годы мои, молодые года!

Дико ветер в полях завывал и стонал,
Хлопьем мокрого снегу поля устилал;
И в кибитке я с ней, уж женою моей,
Мчался быстро на тройке летучих коней...
Ветер свистом и воем поля оглашал;
Но я свисту и вою тогда не слышал...
На коленях моих сладко спала она...
Ох, ты, женка моя, молодая жена!

Ей-богу, Яков Петрович, это я, т. е. Помяловщина, написал. А, каково? вот оно что значит рифмы-то вчера все вертелись на языке... Теперь во что бы то ни стало, а буду упражняться в стихах. Это первой пока блин, а подождите, что будет, когда дойдет до десятого, а тем более до двадцатого... Возьерундим, Яков Петрович, возьерундим!.. Но чур: моего лаптепле(те)ния в стихах никому не показывать, ибо тогда мне будет стыдно!.. ей-богу, будет стыдно!.. ей-богу, будет стыдно!.. Исайте ликуй!.. Тптпру!.. Ого-го! От удовольствия загибаю сам себе салазки двухэтажные.

Ваш Помяловщина.

P. S. Всю пасху буду стихи писать.

1862 г.
Апрель 18.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Н. Г.

На меня и на вас подлая сплетня. В Петербурге, очевидно, не мне, а вам хотят эти скоты нагадить. Я морду побью тому, кто сплетню выпустил, — непременно побью, если только узнаю. Я вас уважаю, мало того, я ваш воспитанник, — я, читая «Современник», установил свое миросозерцание. Теперь же подлецы говорят, будто я бил вас в клубе. Во всем Питере говорят. Я бить и драться не умею, но скорее руку свою оторву, скорее сдохну, чем к вам не только собственноручно, но даже на словах отнесусь неуважительно.

Помяловский.

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Добрейший Яков Петрович!

Я переехал на Малую Охту. Еще не совсем пока устроился, потому что наше семейство осталось до июня в городе. Живу, как новопереселившийся американец; сам варю и сам ем; сам производитель и сам потребитель. На середине комнаты стоит стол. Поутру на нем самовар часу до первого; часу в третьем самовар под стол, а на его место тарелки и другие обеденные приборы; они стоят на столе часу до пятого, а потом идут под стол, а на стол опять самовар; он же, самовар, и в осьмом часу на столе, а потом под стол часу в двенадцатом; из-под стола являются блюда, тарелки, вилки, ножи и пр. Таким образом все хозяйство сосредоточено в одном пункте. Вот как проживает ваш Финдляй. В начале июня, когда переедет ко мне все семейство, вполне устроюсь. Куплю лодку, мережек, накручу удочек, объемся молоком и ягодами. И теперь хорошо на Охте; погода благодатнейшая, ночи чудные, на кладбище соловьи прилетели, под носом Нева, с затылка речка, только на дворе некрасиво — бревна, дрова, щебье и старые бочки — ну, да зачем на двор смотреть. Квартирка довольно большая и хорошенькая, как фонарь — в одной комнате шесть окон. Ловил

рыбу, поймал шесть ершей и съел их; добираюсь до голубей, что поселились на церковной колокольне. Ох, какой аппетит у меня — даже дорого жить становится. Увидите Андрея Штакеншнейдера, турните его ко мне. Скажите, что я ему дам масла, яиц, молока и мягкого хлеба. Когда приедет Тургенев, дайте, пожалуйста, знать — прикачу во что бы то ни стало.

Яков Петрович, добрейший и милейший! приезжайте. Квартиру мою ищите на Малой Охте, не доходя Большой, дом Корепова.

Вполне преданный вам Николай Помяловский.

1862 г.

Май 21.

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Вероятно, в память лучших дней, проведенных мною с вами, вы позволите мне поговорить о том моральном состоянии, в котором я нахожусь теперь, и о том, что я думаю сделать с собою.

Уже из того, что письмо мое холодно, чуть не официально, вы можете вообразить мое душевное настроение в настоящую минуту. Холодно оно не потому, что я бы имел на вас какую-нибудь претензию, а потому, что предмет его — моя личность, к которой день ото дня становлюсь равнодушнее.

Следует взять во внимание некоторые обстоятельства моей жизни. Не думайте, что собираюсь доказать, будто меня среда заела — это было бы очень пошло — среде я никогда не позволял распоряжаться собою.

Первый раз пьян я был на седьмом году.

С тех пор до окончания курса страсть к водке развивалась крещендо и диминуэндо.

Что за причина?

Ни мудрецы, ни доктора, с которыми я советовался, ничего не отвечали на этот вопрос.

Чувствовал причину один только я, но не хотел сознаться в ней. Она была вначале чисто-моральная, но теперь едва ли не перешла в болезнь тела. Я пил в детстве; значит, здесь и искать начало моего порока. И действительно, этим началом был грех (в смысле катехизиса), который заставили меня сделать насильно. Смешно было бы, если бы и теперь я считал себя преступником и налагал на себя эпитимии; но тогда было не то.

Я был мальчик религиозный (в той же мере, как теперь не религиозен): я стал молиться богу, говеть, брать добровольные эпитимии, поститься, отдавать нищим последние деньжонки. Меня совесть мучила, и я сокрушался о лишении царствия божьего. Отведав вина, я почувствовал, что изменяется расположение духа, и с тех пор стал отведывать его чаще и чаще. Невежественная бурса не могла успокоить мою совесть, а напротив — своим православно-карательным духом она усиливала ее мучения; с другой стороны, товарищество, уважавшее пьянство, поощряло во мне этот порок. При окончании курса я был почти пьяница.

Но по выходе из бursы я столкнулся с добрыми и умными людьми и понял всю гадость прежней жизни и угрызений совести по случаю, в котором я нисколько не виноват. Я ободрился, бросил пить, работал усердно и наконец довольно удачно выступил литературе. Все улыбалось впереди, и не думал я, что придется поворотить на старую дорогу, а пришлось-таки.

Этот поворот случился два года назад. В продолжение всего нынешнего лета я был в состоянии полупомешанного. Характер мой изменился: прежде я пил — теперь пожираю водку, прежде отвергал религию — теперь кощунствую, не терпел деспотизма, а теперь сам деспот; не уважал сплетню, приговор кружка, а теперь — общественного мнения; острил и шутил, а теперь — ругаюсь; говорил, а теперь реву. Я дошел наконец до мысли о самоубийстве.

Что же за причина такой перемены в жизни?

Она лучше всего объяснится из письма, которое хотел передать брату, когда готовился броситься в Неву. Вот вам отрывок из письма:

«Я любил одну девушку, которая подарила меня несколькими поцелуями, но по проклятой судьбе замуж за меня выйти не может. Я любил ее пять лет, пять лет только и дышал ею, молился на нее. Два года назад решено, что нам невозможно жениться. Зимой мы должны были совершенно расстаться.

В это время я запил до такой смертности, что не могу остановиться. Теперь только догадался, что, чем пить, лучше броситься в Неву, и брошусь с хохотом и проклятиями. Что мне делать, когда мысли мои путаются, когда приходит в голову прекрасный образ добрейшей, умнейшей, святейшей девушки? Одна любовь могла спасти меня. В те дни, когда оживляла меня надежда на любовь, я не пил, был весел, здоров. Но теперь даже мое железное здоровье расшаталось, моя грудь, на которую в семинарии я позволял становиться ногами 20-летнему парню, теперь болит и стонет. Делать нечего, надо умереть, и я умру».

Но я не привел этого дикого плана в исполнение, потому что захворал и во время болезни одумался. Теперь хочу сделать последнее усилие. Я на всю зиму отказываюсь являться в обществе, чтобы испытать себя, могу ли вести трезвую жизнь? Если нет, никогда не увидите меня; если да, то, вероятно, добрые знакомые простят и позабудут мою глупую жизнь.

Уничтожьте это письмо.

Глубоко уважающий вас

Н. Помяловский.

Ноябрь 1862 г.

4 число.

ПРИМЕЧАНИЯ

Анненков Павел Васильевич (1812–1887). Известный пушкинист и литератор. Представитель либерально-дворянского эстетического направления в русской критике 50—60-х гг. Автор ряда критических статей о Тургеневе, Толстом, Островском, Салтыкове и др. Одним из первых оценил талант Н. Г. Помяловского. Был лично знаком с К. Марксом и находился с ним в переписке.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848). Великий русский критик-революционер. В журналистике 40-х гг. был виднейшим проповедником политической демократии, социальной справедливости и начатков материализма. Непосредственный предшественник революционных демократов 60-х гг., заклеил политический строй современной ему России в своем знаменитом «Письме к Гоголю».

Беллюстин Иван Степанович (1820–1890). Священник-публицист, выпустил за границей анонимную книгу «Описание сельского духовенства в России», вызвавшую негодование царского духовенства и церковных идеологов.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф. Один из главных сотрудников Николая I в его реакционной политике. Принимал деятельное участие в следствии по делу декабристов. В качестве шефа жандармов и начальника Третьего отделения подавлял всякие «вольные мысли» в литературе. Косвенно является одним из виновников гибели великого поэта А. С. Пушкина.

Бибииков Петр Алексеевич (1832–1875). Переводчик, критик и публицист. Издал 13 томов «Библиотеки европейских писателей», куда вошли сочинения Адама Смита, Мальтуса, Ад. Бланки и др. Написал книгу «Литературная деятельность Добролюбова» (1862). Одним из первых писал о Помяловском (в журнале «Время»).

«Библиотека для чтения». Литературный журнал, основанный О. И. Сенковским в 1834 году и впервые издававшийся книгопродавцем А. Ф. Смирдиным. Первый русский толстый журнал, рассчитанный на среднего читателя. Всегда занимал антиреволюционные позиции, боролся против Белинского и «тенденциозной» литературы. С 1848 г. его редактировал А. В. Старчевский, с 1856 г. — А. В. Дружинин, с 1860 г. — А. Ф. Писемский и затем с 1863 г. — П. Д. Боборыкин. В 1865 году «Библиотека» закрылась.

Блан Луи (1811–1882). Французский социалист, деятель революции

1848 г., известный историк. На. русский язык переведен ряд его работ («История французской революции», «История революции 1848 года» и др.).

Богословие (русский перевод греческого слова теология). Термин, явившийся впервые в древней Греции для обозначения учений, стремившихся привести в систему представления о богах. Наукой богословие назвать нельзя, так как оно строится на ненаучном предположении о реальности совершенно фантастических существ (богов и подвластных им духов). Богословие всячески стремится затемнить, в интересах сохранения веры, подлинную историю религии. В капиталистических странах богословие служит целям господствующих классов, проповедуя отказ от классовой борьбы, разжигая национальную вероисповедную рознь.

Бунаков Николай Федорович (1837–1904). Известный педагог, учебники которого расходились в огромном количестве.

Бурса (в средневековой латыни *bursch* — кошелек). Общежитие при университетах средневековой Европы, предназначавшееся для бедных студентов. Б. содержались частью на средства университетов, частью ка доброхотные даяния. Возникли они во Франции. В Западной Руси Б. впервые устроены иезуитами; известна виленская Б. (1577). Широкую известность приобрела Б., устроенная в первой половине XVII в. Петром Могилой при братском училище: в Киеве (позднее Киево-Могилянский коллегиум, переименованный в начале XVIII в. в академию). Положение бурсаков-студентов, находившихся на иждивении училища, было настолько материально тяжелым, что для них являлось настоятельной необходимостью искать каких-либо особых мир к его улучшению, прибегая, например, к сбору добровольных подаяний среди киевских граждан. Для успеха в сборе подаяний бурсаки организовывали театральные представления, в которых музыка, пение, и танцы играли главную роль. Основанные в большинстве случаев на мотивах народных песен и на народных обычаях, эти элементы сценического действия подвергались более или менее самостоятельной переработке и в таком виде некоторые из них дошли до нашего времени. Представления эти имели успех среди украинского населения и сыграли известную культурную роль. Сбор подаяний запрещен был в 1786 г. От киевской Б. название это перешло на все вообще общежития при русских духовных учебных заведениях. Условия жизни Б. были в XIX в. ужасающи: яркая картина Б. этого периода дана в «Очерках бursы» Помяловского. Термины «бурса» и

«бурсаки» стали отмирать в последние десятилетия существования духовных учебных заведений.

Водовозова Елизавета Николаевна (1844–1923). Принимала деятельное участие в организации воскресных школ в 60-х годах. Известна своими воспоминаниями «На заре жизни», рисующими помещичий быт эпохи крепостничества и начало движения 60-х гг.

Воскресенский М. И., беллетрист (ум. в 1867 г.). Романы В. свойственны мелодраматичность и искусственность действующих лиц. Их реакционно-мещанский характер был хорошо вскрыт Добролюбовым.

«*Время*». Журнал, издававшийся братьями Достоевскими с 1861 по 1863 гг.

Герцен Александр Иванович (1812–1870). Знаменитый русский революционер, публицист и общественный деятель. В 1847 г. эмигрировал за границу. Вместе с Огаревым издавал в Лондоне «Полярную звезду» (1855–1869) и «Колокол» (1857–1867), в которых обличал русское самодержавие и требовал освобождения крестьян с полным земельным наделом и с сохранением общины.

Гизо Франсуа-Пьер-Гильом (1787–1874). Французский политический деятель и крупный буржуазный историк.

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887). Публицист-славянофил. Писал в изданиях И. С. Аксакова, издавал консервативную газету «Современные известия» (1867–1887). Его воспоминания «Из пережитого» рисуют провинциальный быт, духовную школу и нравы духовной среды.

Гомилетика. Учение о христианском церковном проповедничестве.

Диакон. В первых христианских общинах — лицо, помогавшее при богослужении (диакон — по-гречески — слуга). В русской «православной» церкви диакон является помощником священника при отправлении богослужения. С учреждением церковно-приходских школ на диаконов возлагались иногда обязанности учителей в этих школах.

Диккенс Чарльз (1812–1870). Знаменитый английский писатель; в своих «социальных романах, проникнутых тонким юмором, дал широкую картину старой английской жизни, в особенности ее теневых сторон.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861). Великий русский критик и публицист. Друг и соратник Чернышевского по работе в журнале «Современник», где появились все основные его произведения. По своим общественным взглядам был последовательным революционером-демократом. В критических статьях Д. блестящий литературный анализ художественных произведений сочетается с протестом против гнета

«темного царства», крепостничества, политического и общественного бесправия, против угнетения человеческой личности. Добролюбов оказал глубокое революционизирующее влияние на русскую литературу и разночинную интеллигенцию своего времени.

Добрынин Г. И. (род. в 1752 г.). Автор книги «Истинное происшествие Гавриила Добрынина», изобличающей жизнь духовенства.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881). Русский писатель. В 1849 г. за участие в социалистическом кружке Петрашевского был приговорен к смертной казни, на эшафоте помилован и сослан в Сибирь, на каторгу, которую описал в романе «Записки из мертвого дома». Вернулся и в Сибири страстным противником социализма, с верой в мистическое православие. Вражда к демократии и к буржуазному строю соединялась у него с поисками индивидуальной правды, с любовью к обиженным судьбой (романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы»).

Дуббельт Леонтий Васильевич (1792–1862). Управляющий «Третьим отделением собственной е. и. в. канцелярии» (с 1835 г.), начальник штаба корпуса жандармов (с 1839 г.). Представитель дворянской крепостнической реакции второй четверти XIX века. Известен, как свирепый гонитель русской литературы: он буквально ненавидел А. С. Пушкина, называя его сочинения «дрянью»; Герцена называл «мерзавцем», выражал сожаление, что смерть Белинского помешала сгноить великого критика в крепости.

Жорж Занд (1804–1876). Французская писательница. Ее первые романы направлены против мещанских устоев семьи и утверждают право женщины на любовь («Индиана», «Валентина», «Лелия» и др.). Произведения 40-х годов написаны под влиянием утопических грез о примирении борющихся общественных классов («Странствующий подмастерье», «Консуэло», «Грех господина Антуана» и др.). В повестях Жорж Занд из деревенской жизни идеализированные поселяне противопоставляются испорченным городским жителям.

Зарин Ефим Федорович, псевдоним «Incognito» (1829–1892). Переводчик и журналист, сотрудник «Отечественных записок» первой половины 60-х гг. Выступал против революционно-демократической журналистики и, главным образом, против «Современника». В 1865 г. Е. Зарин («Incognito») написал статью с резкими выпадами против Помяловского.

«*Клировые ведомости*». От слова клир, означающего духовенство данной церкви, причт, — т. е. ведомости о священно-церковных служителях.

Консистория. Епархиальный орган, подчиненный архиерею для управления и суда.

Костомаров Николай Иванович (1817–1885). Историк и беллетрист, сотрудник «Современника». Участник умереннолиберального течения в украинском национально-освободительном движении. В 40-х годах член тайного украинского о-ва «Кирилло-Мефодиевское братство». Сослан царским правительством.

Курочкин Василий Степанович (1831–1875). Поэт-сатирик, знаменитый переводчик Беранже, Основатель и руководитель «Искры», лучшего революционно-сатирического журнала 60-х гг.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900). Виднейший теоретик революционного народничества. В. 60-х гг. был членом «Земли и Воли». Был сослан. В 1870 г. бежал за границу, участвовал в Парижской коммуне, был редактором «Вестника народной воли» (1883–1886).

Литургика. Изучение церковных обрядов и христианского богослужения.

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь. Издатель-редактор консервативного журнала «Гражданин», близко стоял к придворным сферам и был одним из вдохновителей реакционной политики Александра III и Николая II.

Михайлов Михаил Ларионович (1826–1865). Поэт, переводчик и публицист. Видный участник революционного движения 60-х гг., сотрудник «Современника» эпохи Чернышевского. В 1,861 г. был осужден на каторгу за прокламацию «К молодому поколению».

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877). Крупнейший русский поэт, наиболее яркий представитель революционно-демократического направления в поэзии 60—70-х годов. Был пламенным врагом крепостного режима и трезвым реалистом, видевшим темные стороны народного крестьянского быта. Редактировал «Современник» (1846–1866), а позже и до самой смерти — «Отечественные записки»,

Нибур Бертольд-Георг (1776–1831). Немецкий историк, занимавшийся преимущественно римской историей «и много сделавший для развития методов критического исследования источников в области древней истории.

Никитенко Александр Васильевич (1804–1877). Профессор русской словесности и цензор, умеренный либерал по убеждениям. Интересен его дневник, изданный после смерти Никитенко под заглавием «Моя повесть о самом себе». Дневник имеет значение главным образом для истории русской цензуры.

Обручев Владимир Александрович (1836–1914). Участник революционного движения 60-х гг. Член тайного общества «Великорусе». За распространение прокламаций сослан в 1862 году в каторгу на 3 года.

Оуэн Роберт (1771–1858). Главнейший из представителей английского утопического социализма, развивший энергичную проповедь социальных реформ. Считается отцом английского кооперативного движения.

Охта. Часть Ленинграда при впадении реки Охты в Неву.

Пантелеев Логгин Федорович (1840–1919). Писатель и общественный деятель, один из организаторов «Земли и Воли» 60-х годов. За принадлежность к этому обществу был приговорен к 6 годам каторги. Известен как автор воспоминаний об общественном движении 60-х гг. («Из воспоминаний прошлого»).

Пестель Павел Иванович (1793–1826). Декабрист, основатель и глава Южного тайного общества. Автор «Русской правды», явившейся изложением политической программы декабристов. 13 июля 1826 года Пестель был повешен вместе с четырьмя другими декабристами.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881). Знаменитый хирург и педагог, общественный деятель, автор ряда медицинских и педагогических работ.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868). Знаменитый критик и публицист 60-х гг., руководитель журнала «Русское слово». В 1862 г. был приговорен к 5 годам заключения в крепости за печатание прокламации в подпольной типографии. Вскоре после выхода из крепости утонул.

Полонский Яков Петрович (1820–1898). Поэт и беллетрист. В молодости сотрудничал в «Современнике», а затем в умеренно-либеральных изданиях. Большой известностью пользовалась его поэма-шутка «Кузнечик-музыкант». По определению Добролюбова поэзии Полонского не доставало «энергии и страсти», т. е. ярко выраженных революционных мотивов.

Потанин Гавриил Никитин (1823–1910). Беллетрист 60-х годов, автор романа «Старое старится, молодое растет». У Потанина бывал Помяловский.

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904). Историк литературы и академик, автор работ: «История русской литературы» (4 тома), «История русской этнографии», «Общественное движение при Александре I», а также ряда монографий по литературе и народной словесности. Родственник Н. Г. Чернышевского, Пыпин сотрудничал в «Современнике», а после ареста Н. Г. принимал близкое участие в редактировании журнала.

Решетников Федор Михайлович (1841–1871). Писатель-демократ. Особенную известность приобрела его повесть «Подлиповцы»,

напечатанная в «Современнике» и содержащая резкий протест против тяжелого положения крестьянства в России. Большое место в произведениях Р. занимает рабочая тематика. Он одним из первых нарисовал картины положения рабочего класса в России.

«Русское слово». Радикально-демократический журнал, основанный в 1859 г. С 1860 г. его редактировал Г. Е. Благодетель, сумевший привлечь таких сотрудников, как Д. И. Писарев, Н. В. Шелгунов, А. П. Щапов, Варфоломей Зайцев и др. Журнал был закрыт в 1866 г. вместе с «Современником».

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889). Великий русский сатирик. В своих произведениях боролся против реакции, бичуя нравы и быт дворянско-крепостнического общества. Первым в литературе показал типы деятелей первоначального русского капиталистического накопления, кулаков Колупаевых и Разуваевых. Был одним из редакторов «Отечественных записок».

Семевский Василий Иванович (1848–1916). Известный историк-народник, специалист по истории крестьянства и революционных движений в России, подвергался правительственным преследованиям.

Сен-Симон Клод-Анри (1760–1825), граф. Крупнейший представитель французского утопического социализма. Средством к уничтожению классовых противоречий считал правительственные реформы и воспитание общества в духе новой религии, что привело впоследствии сен-симонизм к вырождению в религиозно-мистическую секту.

Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838–1869). Участник революционного движения 60-х годов. Эмигрант с 1862 г. Покончил самоубийством; 2) *Николай Александрович* (1834–1866). Участник революционного движения начала 60-х годов. В 1864 г. приговорен к каторге.

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878). Писатель-демократ. Автор правдивых рассказов из крестьянской жизни. Главное произведение С. — повесть «Трудное время» — направлена против помещичьего либерализма.

Соборование — один из обрядов христианской церкви, применялся к больным или умирающим.

Спасович Владимир Данилович (1829–1906). Известный либеральный юрист и адвокат. В 1857–1861 гг. был профессором Петербургского университета. Перу С. принадлежит много работ по праву, а также ряд статей на литературные темы.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839). Российский государственный деятель. В 1809 г. выработал проект государственного

преобразования, в котором проводил идеи «конституционной монархии». Крупно-крепостническое дворянство опротестовало этот проект. В результате Сперанский был отправлен в 1812 т. в ссылку. В 1819 г. С. назначен Сибирским генерал-губернатором, в 1821 г. возвращен в Петербург.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883). Знаменитый русский писатель, автор романов и повестей, в которых отражено общественное движение 50-х, 60-х и 70-х годов. В своих общественно-политических симпатиях Тургенев представлял собой образец последовательного «западника», не идущего, однако, дальше довольно умеренной программы политических реформ.

Успенский Глеб Иванович (1840–1902). Писатель-демократ, посвятивший себя, главным образом, изображению быта деревни пореформенной эпохи. В центре его художественных работ — контрасты между ломающимися старыми устоями и надвигающимся хищным капитализмом.

Успенский Николай Васильевич (1837–1889). Беллетрист 60-х годов, писал рассказы из крестьянской жизни, проникнутые юмором.

Фейербах Людвиг (1804–1872). Виднейший немецкий философ, выступил с критикой гегелевского идеализма, оказал значительное влияние на Маркса и Энгельса. Главные работы: «Сущность христианства», «Предварительные тезисы к реформе философии будущего». Недостатком Ф. является абстрактный характер его материализма.

Фурле Шарль (1772–1837). Главнейший представитель французского утопического социализма, давший едкую критику капиталистического строя. Мечтал о гармоническом человеческом обществе, где люди будут объединены в трудовые общины (фаланстеры).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Анненков. Воспоминания и критические очерки. III. П. 1881.
- Благовещенский Н. А. Биографический очерк. См. Собрание соч. Н. Г. Помяловского. Изд. «Академия», 1935 г., т. I.
- Белавин В. Н. К вопросу об идеологическом значении «Очерков бурсы» (по неизданным материалам). «Звезда» 1930, № 9—10, стр. 284—289.
- Бродский Н. Л. и Сидоров Н. П. Комментарии к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать», М., стр. 25, 28—31, 65—67, 98, 127, 128, 142, 151, 152.
- Вальбе Б. Творчество Н. Г. Помяловского (к 70-летию со дня его смерти). «Литературная учеба», 1933, № 8, стр. 3—17.
- Венгеров С. А. Очерки по истории русской литературы. М. Б. 1907, стр. 77.
- Ветринский. Памяти Н. Г. Помяловского. «Журнал для всех», 1903, № 10—11.
- Войтоловский Л. Очерки по истории русской литературы XIX века, ч. II (Н. Г. Помяловский).
- Воронов И. Помяловский. Педагогические мысли и детские типы. «Вестник воспитания». 1914, № 5, стр. 160—187.
- Геккер Н. Памяти Помяловского Н. Г. «Северные записки», 1913 г., № 10, стр. 182—184.
- Горнфельд А. Памяти Помяловского. «Русское богатство», 1913, № 10.
- Горький М. В людях (об «Очерках бурсы»).
- Горький М. Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать. М. —Л., стр. 17, 32.
- Горький М. Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры. — «Известия ВЦИК СССР и ЦИК» № 168, -1929, 25 июля.
- Горький М. Беседы о ремесле. — «Литературная учеба», 1930, № 17.
- Горький М. О литературе. — «Наши достижения», 1930 г., № 12, стр. 1, 4 (О «Мещанском счастье», «Молотове»).
- Голиков В. Г. Мещанство или кладбищенство. (Памяти Н. Г. Помяловского). — «Вестник знания», 1913, № 11.
- Десницкий В. А. На литературные темы, т. II (ст. о Помяловском). Л., 1936.
- Ельманова Е. Взгляды Н. Г. Помяловского на воспитание. —

«Образование». 1904 г., стр. 39–59, № 8.

Игнатов И. Скучающие и довольные (к 50-летию со дня смерти Н. Г. Помяловского). — «Заветы», 1913. № 10, стр. 1 —14.

Измайлов А. Воинствующее плебейство. (Жизнь и книги Н. Г. Помяловского). — Ежемесячные приложения к журналу «Нива», 1911, № 12, стр. 579–614.

Колтоновская Е. Мученик бursы Н. Г. Помяловский. — «Вестник Европы», 1913, № 11, стр. 302–315.

Котляревский Нестор. Канун освобождения. 1855–1861, стр. 503–508.

Кранихфельд Вл. Памяти Н. Г. Помяловского. — «Современный мир», 1913, № 10, стр. 245–254.

Кропоткин Петр. Идеалы и действительность в русской литературе. — Пер. с английского. СПб., стр. 251–253.

Ленин В. И. Собрание сочинений, изд. 3-е, т. XVII, стр. 469; т. XXI, стр. 437; ср. т. XXII, стр. 528; т. XXIV, стр. 186; ср. примеч. 64-е,

Львов-Рогачевский В. Художник забытых. — «Рабочий мир», 1918.

Писарев Д. Роман кисейной барышни. Избранные сочинения. Гослитиздат, 1935. Т. II.

Его же Погибшие и погибающие. Там же.

Острогорский В. П. Н. Г. Помяловский. — «Русская мысль», 1888, № 1 и 2.

Сакулин П. Н. Н. Г. Помяловский. — «История русской литературы XIX, века». Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, т. III, вып. 15, стр. 322–342.

Скабичевский А, М. История новейшей русской литературы (1848–1890). СПб., 1891, стр. 318–320.»

Шувалов С. Творчество Помяловского. «Русский язык в советской школе», 1931, № 5, стр. 48–68.

Ямпольский И. Н. Г. Помяловский. Биографический очерк в книге «Шестидесятники». Избранные произведения. М. 1933, стр. 104–106:

Ямпольский И. Помяловский и его повесть «Молотов». Вступит, статья к «Молотову», М.—Л. 1931.

Ямпольский И. Помяловский и его «Очерки бursы». Предисловие к «Очеркам бursы», «Молодая Гвардия», 1935.

Примечания

Череванин — герой повести «Молотов».

Ученик-второкурсник, которому поручалось наблюдение за Младшими бурсаками.

3

Духовные школы в России преследовали также и общеобразовательные задачи. Но латынь была средоточием всех ее курсов. Сословный характер этих школ заключался в незыблемой их традиционности и строгой замкнутости. Они были предназначены прежде всего для детей духовенства.

Внешние распорядки этой школы в период 40-х годов были такие же, как в глубокую старину. Правда,

Огрицко, вернее Огрызко, Иосафат Петрович, видный польско-русский революционер-шестидесятник, был сослан в Сибирь.

Анненков П. В. Воспоминания, 1870, стр. 246.

Да, если бы мы только, лучше знали.

Писарев. Сочинения, том 5, 1894, стр. 254–314.

Джагернаут — индуское божество. Самое торжественное религиозное празднество, посвященное ему, называется «праздником колесницы». Идола, изображающего Джагернаута, перевозят из храма в храм в сопровождении толпы паломников под музыку и вопли фанатиков.

«Лит. Наследство» № 15, стр. 288, 1934.

«Новый мир», № 5, 1927.